

# I. Казнь

- Глава 1. Тело осужденного
- Глава 2. Блеск казни

# Глава 1. Тело осужденного

Второго марта 1757 г. Дамьена[1] приговорили к «публичному покаянию перед центральными воротами Парижского Собора»; его «надлежало привезти туда в телеге, в одной рубашке, с горящей свечой весом в два фунта в руках», затем «в той же телеге доставить на Гревскую площадь и после раздирания раскаленными щипцами сосцов, рук, бедер и икр возвести на сооруженную там плаху, причем в правой руке он должен держать нож, коим намеревался совершить цареубийство; руку сию следует обжечь горящей серой, а в места, разодранные щипцами, плеснуть варево из жидкого свинца, кипящего масла, смолы, расплавленного воска и расплавленной же серы, затем разодрать и расчленив его тело четырьмя лошадьми, туловище и оторванные конечности предать огню, сжечь дотла, а пепел развеять по ветру»[2].

«Наконец его четвертовали, – сообщает “Gazette d'Amsterdam”[3]. – Последнее действие заняло много времени, поскольку лошади не были приучены тянуть; тогда вместо четырех лошадей впрягли шесть; но и их оказалось мало, и, чтобы оторвать конечности несчастного, пришлось перерезать ему сухожилия и измолоть суставы...

Говорят, что, хотя он и был закоренелым богохульником, ни малейшей хулы не сорвалось с его уст; лишь невыносимая боль заставляла его издавать ужасные вопли, и он часто повторял: “Господи Иисусе, помилуй, помоги мне, Господи”. Весьма назидательной для очевидцев была забота священника церкви Святого Павла, который, несмотря на свой почтенный возраст, неустанно утешал осужденного».

И вот рассказ караульного Бутона: «Зажгли серу, но пламя оказалось столь слабым, что лишь слегка опалило кожу с наружной стороны руки. Затем один из заплочных дел мастеров, высоко засучив рукава, схватил специально выкованные стальные щипцы фута в полтора длиной и принялся раздирать ему сначала икру правой ноги, затем бедро, потом с обеих сторон мышцы правой руки, потом сосцы. Палач сей, хоть и был человек дюжий, с большим трудом вырывал куски мяса, которое ему приходилось захватывать щипцами дважды или трижды с одной и той же стороны и выворачивать, и на месте изъятого всякий раз оставалась рана величиной с монету в шесть ливров.

После этих терзаний Дамьен, много кричавший, но не богохульствовавший, поднял голову и оглядел себя. Тот же приставленный к щипцам палач железным черпаком захватил из котла кипящего варева и щедро плеснул на каждую рану. Затем к телу осужденного привязали тонкие тросы, прикрепленные с другого конца к сбруе: к ногам и рукам, по одному к каждой конечности.

Достопочтенный Ле Бретон, секретарь суда, несколько раз поднимался к осужденному и спрашивал, не хочет ли он чего сказать. Тот отвечал отрицательно. При каждой пытке кричал адским криком: “Боже, помилуй! Господи, помилуй!”. Несмотря на все мучения, время от времени поднимал голову и отважно оглядывал себя. Тросы на конечностях были

затянуты так туго, что причиняли ему несказанную боль. Господин Ле Бретон еще раз взмошел на плаху и спросил, не желает ли он чего сказать. Тот отказался. Несколько духовников поднялись и долго говорили с ним. Он охотно целовал поднесенное распятие, вытягивал губы и все повторял: “Господи, помилуй!”.

Лошади рванули, каждая из них тянула к себе выпрямленную конечность, каждую держал палач. Через четверть часа процедуру повторили, и после нескольких попыток пришлось направить лошадей по-другому: тех, что тянули за руки, стали поворачивать в сторону головы, а тех, что были привязаны к бедрам, – в сторону рук, чтобы порвать связки. Так пробовали много раз, но безуспешно. Он поднимал голову и оглядывал себя. Пришлось впрячь еще двух лошадей, в помощь тем, что были привязаны к бедрам; лошадей стало шесть. Но и это тщетно.

Наконец, палач Самсон сказал господину Ле Бретону, что нет ни способа, ни надежды довести дело до конца, и попросил его осведомиться у господ судей, не позволят ли они разрезать Дамьена на куски. Вернувшись из города, господин Ле Бретон приказал попробовать еще раз, что и было исполнено. Но лошади заартачились, а одна из привязанных к бедрам рухнула наземь. Духовники вернулись и снова говорили с ним. Он сказал им (я слышал): “Поцелуйте меня, судари”. Кюре церкви Святого Павла не осмелился, а господин де Марсийи нагнул, про шел под веревкой, привязанной к левой руке, и поцеловал его в лоб. Палачи обступили его, и Дамьен сказал им, чтобы не бранились, делали свое дело, а он на них не в обиде; просил их молиться за него, а священника церкви Святого Павла – отслужить молебен на ближайшей мессе.

После двух-трех попыток палач Самсон и тот другой, который орудовал щипцами, вытащили из карманов ножи и, поскольку больше ничего не оставалось, надрезали тело Дамьена в бедрах. Четыре лошади потянули что есть силы и оторвали обе ноги, сначала правую, потом левую. Потом надрезали руки у предплечий и подмышек и остальные связки; резать пришлось почти до кости. Лошади надсадно рванули и оторвали правую руку, потом левую.

Когда все четыре конечности были оторваны, духовники пришли говорить с ним. Но палач сказал им, что он мертв, хотя, по правде сказать, я видел, что он шевелится, а его нижняя челюсть опускается и поднимается, будто он говорит. Один из палачей вскоре после казни даже сказал, что, когда они подняли торс, чтобы бросить на костер, он был еще жив. Четыре оторванных конечности отвязали от тросов и бросили на костер, сложенный в ограде рядом с плахой, потом торс и все остальное закидали поленьями и вязанками хвороста и зажгли воткнутые в дрова пучки соломы.

...Во исполнение приговора все было сожжено дотла. Последний кусок, найденный в тлеющих углях, еще горел в половине одиннадцатого вечера. Куски мяса и туловище сгорели часа за четыре. Офицеры, в том числе я и мой сын, вместе с отрядом лучников оставались на площади почти до одиннадцати.

Некоторые придали особое значение тому обстоятельству, что назавтра какая-то собака улеглась на траве, где был костер. Ее несколько раз гнали прочь, но она возвращалась. Но не трудно понять – собака почувствовала, что в этом месте теплее, чем где-либо еще»[4].

Три четверти века спустя Леон Фоше составил распорядок дня «для Парижского дома малолетних заключенных»[5].

#### “ Статья 17

День заключенных начинается в шесть часов утра зимой и в пять – летом. Работают девять часов в день в любое время года. Два часа в день отводится на учебу. День заключенных оканчивается в девять часов зимой и в восемь – летом.

#### Статья 18

Подъем. По первой барабанной дроби заключенные должны встать и молча одеться, пока надзиратель отпирает двери камер. При второй дроби они должны быть одеты и заправлять койки. По третьей дроби – построиться и направиться в часовню на утреннюю молитву. От дроби до дроби проходит пять минут.

#### Статья 19

Приор читает молитву, после чего производится нравственное или религиозное чтение. Упражнение не должно занимать более получаса.

#### Статья 20

Работа. Без четверти шесть летом, без четверти семь зимой заключенные спускаются во двор, где должны вымыть руки и лицо и получить первую пайку хлеба. Сразу после этого они строятся по мастерским и направляются на работу, которая начинается в шесть часов летом, в семь – зимой.

#### Статья 21

Обед. В десять часов заключенные прекращают работу и направляются в столовую. Они моют руки в своих дворах и строятся по отделениям. После обеда – отдых до без двадцати одиннадцать.

#### Статья 22

Урок. Без двадцати одиннадцать по барабанной дроби заключенные строятся в ряды и отделениями идут в школу. Занятия длятся два часа и посвящаются попеременно чтению, письму, геометрии и арифметике.

#### Статья 23

Без двадцати час заключенные отделениями выходят из школы и направляются во дворы на перемену. Без пяти час по барабанной дробе снова строятся по мастерским.

#### Статья 24

В час дня заключенные должны быть в мастерских. Работа длится до четырех.

#### Статья 25

В четыре часа заключенные выходят из мастерских и направляются во дворы, где моют руки, строятся по отделениям и направляются в столовую.

#### Статья 26

До пяти делятся ужин и отдых, после чего заключенные возвращаются в мастерские.

#### Статья 27

В семь часов летом, в восемь – зимой работа прекращается. В мастерских производится последняя раздача хлебных паяк. В течение четверти часа один из заключенных или надзирателей производит поучительное или воспитательное чтение, потом идет вечерняя молитва.

#### Статья 28

В половине восьмого летом, в половине девятого зимой заключенные после мытья рук и обыска во дворах расходятся по камерам. По первой барабанной дробе они должны раздеться, по второй – лечь. Двери камер запираются, и надзиратели совершают обход по коридорам, дабы удостовериться в порядке и тишине.

Итак, публичная казнь и тюремный распорядок дня. Они не карают за одинаковые преступления, не наказывают преступников одного типа. Но каждое из них выражает определенный стиль наказания. Их разделяет меньше века. Время, когда в Европе и Соединенных Штатах вся экономия наказания была преобразована. Время больших «скандалов» в традиционной правосудии, время неисчислимых реформаторских проектов. Новой теории закона и преступления, нового морального или политического обоснования права наказывать, отмены старых предписаний, исчезновения обычаев; время составления «современных» кодексов: Россия, 1769; Пруссия, 1780; Пенсильвания и Тоскана, 1786; Австрия, 1788; Франция, 1791 (год IV[6]), 1808 и 1810. Новая эра в уголовном правосудии.

Из многочисленных изменений остановлюсь на одном: на исчезновении публичных казней с применением пыток. Сегодня это событие порой обходят вниманием; возможно, в свое время оно вызвало лишние словопрения; может быть, его чересчур поспешно и категорически объяснили процессом «гуманизации», отмахнувшись тем самым от необходимости дальнейшего анализа. Да и так ли важно это изменение по сравнению с великими институциональными преобразованиями, с формулированием четких общих кодексов и единых правил судопроизводства; с почти повсеместным внедрением суда присяжных, с утверждением преимущественно исправительного характера наказания и становившейся все более заметной, начиная с XIX века, тенденцией к модификации наказания применительно к конкретному правонарушителю? Не явно физический характер наказания, некоторая осторожность в искусстве причинять боль, смягчение страданий, лишение их нарочитой зрелищности, – разве не следовало бы рассматривать все это как особый случай, как побочное и незначительное следствие более глубоких преобразований? И все же остается фактом, что за несколько десятилетий исчезло казнимое, пытаемое, расчленяемое тело, символически клеймимое в лицо или плечо, выставляемое на публичное обозрение живым или мертвым. Исчезло тело как главная мишень судебно-уголовной репрессии.

В конце XVIII – начале XIX столетия, несмотря на отдельные яркие вспышки, мрачное карательное празднество начинает угасать. В этом преобразовании действуют два процесса. Их развитие во времени не вполне совпадает, содержание не совсем одинаково. С одной стороны, постепенное исчезновение наказания как зрелища. Церемониал наказания сходит со сцены; он сохраняется только как новый процедурный или административный акт. Публичное покаяние впервые было отменено во Франции в 1791-м и снова, после кратковременного восстановления, в 1830 г. Позорный столб упраздняется во Франции в 1789-м, в Англии – в 1837 г. Использование заключенных на общественных работах, для уборки улиц или ремонта дорог, практиковалось в Австрии, Швейцарии и некоторых американских штатах, например в Пенсильвании; прямо на улицах или больших дорогах каторжники в железных ошейниках, пестрой одежде и кандалах обменивались с толпой выкриками, ругательствами, насмешками, пинками, злобными жестами или знаками солидарности[7]. Эта практика была отменена почти повсеместно в конце XVIII – начале XIX века. Демонстративное вождение осужденных по улицам сохраняется во Франции еще в 1831 г., несмотря на жесткую критику: «отвратительное зрелище», по словам Реаля[8][9]; оно было окончательно упразднено в апреле 1848 г. Что касается цепей колодников, которые тянулись по всей Франции до Бреста и Тулона, то в 1837 г. их сменили благопристойные черные тюремные фургоны. Наказание постепенно перестает быть театром. И все, что остается в нем от зрелища, отныне воспринимается отрицательно; как будто постепенно перестают понимать функции уголовно-исполнительной церемонии, как будто этот ритуал, который «завершал» преступление, заподозрили в недолжном родстве с последним: словно заметили, что он равен, а то и превосходит в варварстве само преступление, приучает зрителей к жестокости, тогда как должен отваживать от нее, показывает им, насколько часты преступления, выдает в палаче преступника, в судьях – убийц, в последний момент меняет роли, превращая казнимого преступника в объект сочувствия или восхищения. Беккариа давно заметил: «Убийство, представляемое нам как ужасное преступление, сами совершают хладнокровно, без угрызений совести»[10]. Публичная казнь воспринимается отныне как очаг, где снова разгорается насилие.

Итак, наказание постепенно становится наиболее скрытой частью уголовной процедуры. Это влечет за собой несколько следствий: наказание покидает область едва ли не повседневного восприятия и входит в область абстрактного сознания; эффективность наказания определяется его неотвратимостью, а не зрелищным воздействием; не ужасающее зрелище публичного наказания, а именно неизбежность наказания должна отвращать от преступления; функционирование наказания в качестве примера изменяет свои механизмы. Тем самым правосудие больше не берет на себя публично ответственность за насилие, связанное с его отправлением. Если оно продолжает убивать, если оно продолжает карать, то не во славу собственной силы; насилие – его внутренний элемент, который ему приходится терпеть, но который ему трудно обосновать. Происходит перераспределение бесчестия: в наказании как зрелище атмосфера ужаса окружала плаху; оно охватывало и палача, и осужденного; и будучи всегда готово превратить позор, навлекаемый на казнимого, в сострадание или славу, оно регулярно посрамляло чинимое во имя закона насилие палача. Отныне позор и огласка распределяются иначе; само осуждение помечает преступника отрицательной и однозначной метой: публичность смещается к судебному разбирательству и приговору; казнь же предстает как дополнительное унижение, которому правосудие стыдится подвергнуть осужденного. Поэтому оно держится подальше от акта казни, неизменно перекадывая его на других, причем под покровом тайны. Унизительно подвергаться наказанию, но и отправление его не приносит славы. Отсюда двойная система защиты, устанавливаемая правосудием между ним самим и назначаемым им наказанием. Приведение приговора в исполнение становится автономным сектором, и его административный механизм снимает ответственность с правосудия; оно избавляется от этого подспудного груза путем бюрократического утаивания наказания. Характерно, что во Франции управление тюрьмами и тюремная администрация долгое время находились в ведении министерства внутренних дел, а управление каторгами осуществлялось министерством морского флота и колоний. Кроме упомянутого разделения ролей имеет место теоретический отказ: не думайте, что приговоры, выносимые нами, судьями, порождены желанием наказать; нет, они призваны исправлять, вразумлять, «исцелять». Техника исправления вытесняет в наказании собственно искупление содеянного зла и освобождает судей от презренного карательного ремесла. Новое правосудие и некоторые его вершители как будто стыдятся наказывать, что, впрочем, не всегда исключает усердие. Чувство стыда постоянно растет: вокруг этой раны кишат и быстро множатся психологи и мелкие чиновники от моральной ортопедии.

Исчезновение публичных казней и пыток означает исчезновение зрелища. Но также и ослабление власти над телом. Раш пишет в 1787 г.: «Не могу не надеяться, что недалеко то время, когда виселица, позорный столб, плаха, розги и колесо станут расцениваться в истории телесных наказаний как признаки варварства эпох и стран, как доказательство слабого влияния разума и религии на человеческое сознание»[11]. Действительно, шестьдесят лет спустя Ван Минен, открывая в Брюсселе второй пенитенциарный конгресс, вспоминает о временах своего детства как о навсегда ушедшей эпохе: «Я видел землю, усеянную колесами, виселицами, позорными столбами; я видел скелеты, отвратительно распластанные на колесах»[12]. Клеймение отменяется в Англии (1834) и во Франции (1832). В 1820 г. в Англии уже не осмелились применить в полной мере грандиозную публичную казнь, уготованную предателям, – Тистлвуд не был разрублен на куски. Лишь кнут и розги сохранялись еще в некоторых уголовных системах (в России, Англии и Пруссии). Но, вообще

говоря, карательные практики стали более сдержанными. Следует или вовсе не касаться тела, или касаться его как можно меньше, причем не ради самого тела. Возразят: тюрьма, лишение свободы, принудительные работы, каторга, запрет на проживание в определенных местах, высылка – занимавшие столь важное место в уголовно-правовых системах нового времени – являются «физическими» наказаниями; в отличие от штрафных взысканий, например, они воздействуют непосредственно на тело. Однако взаимосвязь между наказанием и телом уже не такова, какой она была в публичной казни. Тело служит теперь своего рода орудием или посредником: если на него воздействуют тюремным заключением или принудительным трудом, то единственно для того, чтобы лишить индивида свободы, которая считается его правом и собственностью. В соответствии с такой уголовно-исполнительной системой тело окружается целой системой принуждений и лишений, обязанностей и запретов. Физическое страдание, собственно телесная боль больше не являются составными элементами наказания. Перестав быть искусством причинения невыносимых страданий, наказание становится экономией «приостановленных» прав. Если правосудию все еще приходится затрагивать тела осужденных, манипулировать ими, то оно делает это издали, надлежащим образом, в соответствии со строгими правилами и с куда более «возвышенной» целью. Вследствие этой новой сдержанности на смену палачу, этому прямому анатому страдания, приходит целая армия специалистов: надзиратели, врачи, тюремные священники, психиатры, психологи, воспитатели. Самим своим присутствием возле осужденного они воздают правосудию хвалу, в которой оно так нуждается: они лишний раз убеждают его в том, что тело и боль не являются конечными целями его карательного действия. Заставляет задуматься вот что: в наше время врач должен находиться при приговоренных к смерти до самого последнего момента; заботясь об их здоровье, облегчая их страдания, он встает рядом со служителем закона, чья задача – положить конец их жизни. Когда наступает момент исполнения приговора, пациентам-жертвам впрыскивают транквилизаторы. Утопия судебной стыдливости: отнимать жизнь, но неощутимо; лишать всех прав, не заставляя страдать; подвергать наказаниям, не причиняя боли. Обращение к психофармакологии и различным физиологическим «выключателям», пусть даже временное, составляет естественную часть этого «нетелесного» наказания.

Об этом двойственном процессе – исчезновении зрелища и упразднении боли – свидетельствуют современные ритуалы смертной казни. Это же движение побудило к изменению, каждое в свое время, европейские законодательства: одинаковая смерть для всех преступников – смертная казнь уже не несет на себе, словно герб, специфическое клеймо наказания или общественного статуса преступника; смерть длится лишь мгновение – никакое ожесточение не должно раздроблять ее на множество шагов, предшествующих собственно смерти или осуществляемых на трупе; казнь скорее отнимает жизнь, нежели поражает тело. Уже нет тех долгих процессов, в ходе которых смерть замедлялась путем рассчитанных остановок и вместе с тем растягивалась посредством целого ряда повторяющихся приступов. Уже не практикуются сочетания пыток, которые задумывались как зрелищная казнь цареубийц, вроде той, о которой в начале XVIII века мечтал автор текста «Hanging not Punishment enough»[13]: надлежит переломать конечности осужденного на колесе, затем избить его плетью до потери сознания, потом повесить на цепях и, наконец, дать ему медленно умереть голодной смертью. Уже не устраиваются публичные казни, когда осужденного волочили на плетенке (чтобы голова не разбилась о булыжную мостовую), когда ему вспарывали живот и быстро вырывали кишки, чтобы он успел



собственными глазами увидеть, как их швыряют в огонь, и наконец обезглавливали и четвертовали[14]. Сведение «тысячи смертей» к жестко регламентированной смертной казни определяет совершенно новую мораль акта наказания.

Уже в 1760 г. в Англии (в ходе казни лорда Феррера) была испытана висельная машина (подножка, убирающаяся из-под ног осужденного, позволяла избежать медленной агонии и схваток между жертвой и палачом). Она была усовершенствована и окончательно принята на вооружение в 1783 г., в том же году, когда отменили традиционное шествие из Ньюгейта в Тибурн и, воспользовавшись реконструкцией тюрьмы после гордоновских бунтов, устроили плахи в самом Ньюгейте[15]. Знаменитая третья статья французского уголовного кодекса 1791 г. – «каждому приговоренному к смерти надлежит отрубить голову» – имела тройное значение и предполагала: равную смерть для всех («правонарушения одного рода караются одинаково, независимо от ранга и общественного положения виновного», – говорилось в предложении, внесенном Гильотэном[16] и принятом 1 декабря 1789 г.); одну смерть для каждого приговоренного, причиняемую одним ударом, без использования «долгих, а тем самым жестоких» методов, таких, как казнь через повешение, осужденная Ле Пелетье[17]; наконец, наказание только самого приговоренного, поскольку обезглавливание, основное смертное наказание для знати, менее других форм казни позорит семью преступника[18]. Гильотина, впервые примененная в марте 1790 г., – механизм, отвечающий этим принципам. Смерть сводится к видимому, но мгновенному событию. Контакт между законом или теми, кто проводит его в жизнь, и телом преступника становится молниеносным. Никакого физического столкновения; палач должен быть не более чем добросовестным часовщиком. «Опыт и размышление убеждают, что применявшийся ранее метод отсечения головы подвергает преступника более страшной пытке, нежели простое лишение жизни, которое является формальной целью закона; поэтому казнь должна совершаться мгновенно и одним ударом; примеры показывают, как трудно этого достичь. Процедура будет совершенной лишь в том случае, если используются одни и те же механические средства, сила и действенность которых также поддаются исчислению... Достаточно легко изготовить такую неизменно действенную машину. Обезглавливание будет производиться мгновенно, в соответствии с целью нового закона. Если это устройство действительно необходимо, оно не вызовет возмущения умов и едва ли будет замечено»[19]. Гильотина отнимает жизнь, почти не касаясь тела, подобно тому как тюрьма лишает свободы, а наложение штрафа забирает часть имущества. Она задумана таким образом, чтобы обеспечить применение закона не столько к реальному телу, способному испытывать боль, сколько к юридическому лицу, обладающему помимо других прав правом на жизнь. Она должна обладать абстрактностью самого закона.

Несомненно, на сдержанность процедур казни во Франции какое-то время падал отсвет публичных казней. Отцеубийц – и приравниваемых к ним цареубийц – возводили на эшафот под черным покрывалом; здесь им отрубали кисть руки (до 1832 г.). Впоследствии от этой процедуры остался лишь декоративный траурный креп. Так было с Фиески[20] в ноябре 1836 г.: «Надлежит привезти его на место казни в рубашке, босым, с черным покрывалом на голове; выставить на эшафоте, пока судебный исполнитель зачитает народу приговор, засим немедленно казнить». Вспомним Дамьена. Заметим, что последним дополнением к смерти как уголовному наказанию было траурное покрывало. Отныне осужденный не должен быть виден. Только зачитание приговора на эшафоте сообщает о преступлении, которое не

должно иметь лица[21]. Последним следом грандиозных публичных казней становится их упразднение: ткань, скрывающая тело. Вот казнь трижды преступившего закон (убийца своей матери, гомосексуалист, убийца другого человека) Бенуа, которому первым из убийц собственного родителя закон позволил избежать отсечения кисти руки: «При зачитании приговора он стоял на эшафоте, поддерживаемый палачами. В зрелище этом было что-то страшное; закутанный в широкий белый саван, с лицом, скрытым за черным крепом, матереубийца прятался от взглядов безмолвной толпы, и под таинственным и мрачным одеянием жизнь проявляла себя лишь ужасными воплями, вскоре стихшими под ножом»[22].

Итак, в начале XIX века исчезает грандиозное зрелище физического наказания; избегают казнимого тела; из наказания исключается театрализация страдания. Начинается эра карательной сдержанности. Исчезновение публичных казней, предваряемых пытками, практически свершилось к 1830–1848 гг. Конечно, эта всеобъемлющая констатация требует уточнения. Прежде всего, изменения произошли не разом, не одновременно. Были задержки. Парадоксально, но Англия оказалась одной из стран, которые упорнее других противились отмене публичных казней: возможно, это объяснялось ролью модели, полученной ее уголовным правосудием благодаря учреждению суда присяжных, публичному судоразбирательству, соблюдению *habeas corpus*[23]; главным же образом, несомненно, тем, что она не захотела ослабить строгость уголовных законов в период серьезных общественных беспорядков 1780–1820 гг. Долгое время Ромили, Макинтошу и Фоуэллу Бакстону не удавалось добиться уменьшения числа и смягчения наказаний, предусмотренных английским законом – этой «чудовищной бойней», по словам Росси[24]. Строгость закона (фактически, суды присяжных считали предусмотренные им наказания слишком суровыми, а потому были скорее снисходительны в их применении) даже возросла: в 1760 г. Блэкстоун насчитывал в английском законодательстве 160 преступлений, наказуемых смертной казнью, а в 1819 г. их стало уже 223. Следует также принять во внимание продвижения вперед и отступления, характеризовавшие весь этот процесс в 1760–1840 гг., быстроту реформ в некоторых странах, таких, как Австрия, Россия, Соединенные Штаты или Франция во время Конституанты, а затем их спад в эпоху европейских контрреволюций и великого общественного страха 1820–1848 гг., более или менее краткие изменения, вводимые чрезвычайными судами или законами, расхождение между законами и реальной практикой судов (отнюдь не являвшейся зеркальным отражением состояния законодательства). Все это объясняет неравномерность преобразования, свершившегося на рубеже XVIII–XIX веков.

Следует добавить, что, хотя это преобразование в значительной мере закончилось к 1840 г., хотя механизмы наказания к тому времени стали действовать по-новому, сам процесс изменений был далек от завершения. Уменьшение числа публичных казней с применением пыток – тенденция, коренившаяся в великом преобразовании 1760–1840 гг.; но в этот период она не достигла полной реализации. Можно сказать, что практика публичной казни долго преследовала нашу систему уголовных наказаний и еще жива в ней. Гильотина, механизм быстрых и незаметных смертей, знаменовала во Франции новую этику законосообразной смерти. Но Революция тотчас придала ее применению пышный театральный ритуал. Долгие годы длился этот спектакль. Для того чтобы казнь перестала быть зрелищем и оставалась странной тайной правосудия и осужденного, потребовалось перенести гильотину к заставе Сен-Жак, заменить открытую повозку крытым фургоном,

быстро выталкивать осужденного из фургона прямо на эшафот, организовывать казни наспех и в неожиданное время; в конце концов пришлось установить гильотины в тюрьмах и сделать их недоступными для публики (после казни Вейдманна в 1939 г.), перекрыв улицы, ведущие к тюрьме, где спрятан эшафот и тайно вершится казнь (казнь Бюффэ и Бонтана в тюрьме Сантэ в 1972 г.); понадобилось даже преследовать свидетелей, рассказывавших об исполнении казни. Достаточно лишь упомянуть об этих многочисленных предосторожностях, как становится ясно, что и сегодня смертное наказание остается, в сущности, зрелищем, которое, собственно, необходимо запретить.

Что касается карательного захвата тела, то даже в середине XIX века он не отошел в прошлое. Конечно, наказание перестало сосредотачиваться на пытке как технологии причинения страдания; основной целью его стало лишение имущества или прав. Но такие наказания, как каторжные работы или даже заключение – простое лишение свободы, – никогда не действовали без некоторого карательного дополнения, ощутимо затрагивающего само тело: продовольственные пайки, лишение половых сношений, избиение, одиночное заключение. Является ли это непреднамеренным, но неизбежным следствием заключения? Фактически, тюрьма в самых очевидных своих практиках всегда содержала определенную долю телесного страдания. Критика тюремной системы, нередкая в первой половине XIX века (тюрьма не является достаточным наказанием: заключенные менее голодны, менее страдают от холода, вообще испытывают меньше лишений, чем многие бедняки или даже рабочие), указывает на постулат, который так и не был открыто отвергнут: осужденный должен испытывать бóльшие физические страдания, чем другие люди. Трудно отделить наказание от дополнения в форме физической боли. Каким было бы нетелесное наказание?

Итак, в современных механизмах уголовного правосудия сохраняется след публичных «пыточных» казней – след, который не вполне изжит, но все более изглаживается «нетелесной» уголовно-исполнительной системой.

\* \* \*

Смягчение строгости уголовно-исполнительной системы в последние века – явление, хорошо известное историкам права. Но в течение долгого времени оно рассматривалось в целом как явление количественное: меньше жестокости, меньше страдания, больше мягкости, больше уважения, больше гуманности. В действительности же эти изменения сопровождаются заменой самого объекта карательной операции. Уменьшение насилия? Возможно. Смена объекта? Бесспорно.

Если система исполнения наказания в самых строгих ее формах уже не обращена на тело, тогда за что же она цепляется? Ответ теоретиков – тех, кто открыл в 60-х годах XVIII века период, который пока еще не завершился, – прост, почти очевиден. Он как бы содержится в самом вопросе. Если не тело, то душа. Искупление, которое некогда терзало тело, должно быть заменено наказанием, действующим в глубине, – на сердце, мысли, волю, наклонности. Мабли[25] сформулировал этот принцип раз и навсегда: «Наказание, скажем так, должно поражать скорее душу, чем тело»[26].

Важный момент. Старые соучастники зрелищного наказания, тело и кровь, сходят со сцены. Новый персонаж появляется здесь в маске. Заканчивается своеобразная трагедия; начинается комедия с игрой теней, безликими голосами, неосязаемыми сущностями. Аппарат уголовного правосудия должен «вгрызаться» теперь в эту бестелесную реальность.

Чисто теоретическое утверждение, опровергаемое уголовно-правовой практикой? Такой вывод был бы слишком поспешным. Конечно, в наше время наказывать не значит просто обращать душу, но принцип Мабли не остался благим пожеланием. Во всей современной уголовно-правовой системе можно наблюдать его следствия.

Прежде всего, замена объектов. Я не хочу сказать, что стали вдруг наказывать за другие преступления. Несомненно, определение правонарушений, классификация их в зависимости от тяжести, области дозволительного, то, что допускается фактически, и то, что разрешено законом, – все это за последние двести лет значительно изменилось; многие преступления перестали существовать, поскольку они были связаны с определенным отправлением церковной власти или конкретным типом экономической жизни: богохульство утратило статус преступления; контрабанда и кража домашнего имущества перестали считаться очень серьезными преступлениями. Но эти смещения, пожалуй, не самый важный факт: разделение на дозволенное и запрещенное сохраняло определенную устойчивость из века в век. С другой стороны, «преступление», объект судебно-уголовной практики, глубоко изменилось: изменились скорее качество, природа, состав, в некотором роде субстанция наказуемого элемента, нежели его формальное определение. Под покровом относительной неизменности закона произошло множество тонких и быстрых перемен. Под именем «преступления и проступки» по-прежнему судят юридические объекты, определенные в Кодексе, но судят также страсти, инстинкты, аномалии, физические недостатки, неприспособленность, последствия воздействия среды или наследственности; наказывают акты агрессии, но через них и агрессивность; изнасилования, но в то же время извращения; убийства, но также влечения и желания. Возразят, что судят не это и что если все это вообще упоминается, то лишь для того, чтобы объяснить рассматриваемые деяния и установить, в какой мере в преступлении участвовала воля субъекта. Ответ несостоятельный. Ведь судят и наказывают именно их, эти тени, таящиеся за элементами дела. Их судят окольным путем, как «смягчающие обстоятельства», которые вводят в приговор не только «продиктованные обстоятельствами» элементы деяния, но и нечто совсем иное, юридически не квалифицируемое: знание преступника, впечатление о нем, то, что известно об отношениях между ним, его прошлым и его преступлением, и то, что можно ожидать от него в будущем. Их судят также через игру всех тех понятий, которые циркулировали между медициной и судебной практикой с XIX века («монстры» в эпоху Жорже[27], «психические аномалии» по циркуляру Шомье, «извращенцы» и «неприспособленные», «недееспособные» у современных экспертов) и которые, под предлогом объяснения деяния, являются способами квалификации индивида. Их карают наказанием, заставляющим преступника «не просто желать жить, но и быть способным жить, соблюдая закон и зарабатывая свой хлеб»; их карают посредством внутренней экономии наказания, которое, хотя и должно наказывать за конкретное преступление, может быть изменено (сокращено или, в некоторых случаях, продлено) в зависимости от изменений в поведении осужденного; их наказывают и посредством сопровождающих наказание «мер безопасности» (запрет на проживание в определенных местах,

освобождение с условием дальнейшего надзора, назначение «опеки», принудительное лечение), которые нацелены не на наказание правонарушителя, а на контроль над индивидом, нейтрализацию исходящей от него опасности, изменение его преступных наклонностей, и которые должны прекратить свое действие тогда, когда искомое изменение будет достигнуто. Душа преступника упоминается на суде не просто для объяснения преступления, не просто как элемент юридического распределения ответственности; ее вызывают на суд, с таким пафосом, с таким стремлением понять, с таким «научным» рвением, также для того, чтобы она была судима, как и преступление, и получила свою долю наказания. Во всем судебно-уголовном ритуале, от предварительного следствия до вынесения приговора и последних результатов наказания, мы угадываем некую область объектов, которые не только дублируют юридические объекты, но и участвуют в их определении и кодификации. Психиатрическая экспертиза, но и вообще судебная антропология и навязший в зубах дискурс криминологии находят здесь одну из своих прямых функций: торжественно включая правонарушения в поле объектов, подлежащих научному познанию, они обеспечивают механизмы правового наказания обоснованной властью не только над правонарушениями, но и над самими индивидами; не только над тем, что они делают, но и над тем, какими они, возможно, станут. Дополнение в форме души, которым обеспечило себя правосудие, – казалось бы, объясняющее и ограничительное, но на самом деле захватническое. В течение 150–200 лет, с тех пор как Европа внедрила новые уголовно-правовые системы, судьи постепенно, но в ходе процесса, имеющего очень давние истоки, стали судить уже не преступления, а «душу» преступников.

А тем самым они начали делать нечто иное, нежели вершить правосудие. Или, точнее говоря, в саму судебную модальность приговора вкрались иные типы оценки, существенно изменив правила его выработки. С тех пор как средние века в результате медленного и болезненного процесса создали великую процедуру дознания, сложилось мнение, что судить – значит установить истину преступления, определить личность преступника и применить к нему предусмотренное законом наказание. Знание правонарушения, знание виновного, знание закона – три условия, позволявшие положить в основание приговора истину. Но теперь в ход уголовного судопроизводства вводится совсем иной вопрос об истине. Не просто: «Установлен ли акт и является ли он преступным?» – но также: «Что это за акт, какое это насилие или убийство? К какому уровню или к какой области реальности он принадлежит? Что это – фантазия, психотическая реакция, временное безумие, развращенность?» Не просто: «Кто его совершил?» – но также: «Как установить вызвавший его причинный процесс? Что в самой личности преступника привело к преступлению? Инстинкт, бессознательное, среда, наследственность?» Не просто: «Каким законом карается это правонарушение?» – но: «Какие меры были бы наиболее адекватными? Как предвидеть эволюцию преступника? Каков наилучший путь к его исправлению?» В структуру судопроизводства и вынесения судебного приговора внедрился целый комплекс оценочных, диагностических, прогностических и нормативных суждений о преступном индивиде. Другая истина вклинилась в ту, что требовалась судебным механизмом; эта другая истина, переплетаясь с первой, превращает утверждение виновности в странный научно-юридический комплекс. Примечателен характер эволюции вопроса о безумии в судебной практике. В кодексе 1810 г. безумие упоминалось только в статье 64. Эта статья гласит, что нет состава преступления или проступка, если правонарушитель в момент совершения деяния находился в невменяемом состоянии. Установление факта безумия, следовательно,

несовместимо с квалификацией деяния как преступления; ни тяжесть деяния не изменяется в зависимости от факта безумия субъекта, ни наказание не смягчается – исчезает преступление как таковое. Следовательно, невозможно было объявить кого-либо одновременно виновным и сумасшедшим. Если ставится диагноз помешательства, то он не только несовместим с приговором, а просто прерывает расследование и вырывает совершившего преступное деяние из когтей правосудия. Не только обследование преступника, подозреваемого в невменяемости, но и сами последствия этого обследования должны оставаться вне приговора и предшествовать ему. Но очень скоро суды XIX столетия стали ошибаться в толковании статьи 64. Несмотря на ряд постановлений кассационного суда, подтверждавших, что признание помешательства не может повлечь за собой ни смягчения наказания, ни даже оправдания, но требует прекращения дела, судьи продолжали ставить вопрос о помешательстве в самом приговоре. Они допускали, что можно быть одновременно виновным и безумным, причем тем менее виновным, чем более безумным; конечно, подсудимый виновен, но его следует скорее изолировать и лечить, чем наказывать; он не только виновен, но и опасен, поскольку явно болен, и т. п. В результате возникали несообразности с точки зрения уголовного кодекса. Но это стало отправной точкой изменения, к которому подталкивали судебные практики и законодательство в течение последующих 150 лет: уже реформа 1832 г., которая ввела понятие «смягчающие обстоятельства», сделала возможным изменение приговора в зависимости от предполагаемой степени развития болезни или форм частичного помешательства. А практика обращения к психиатрической экспертизе, обычная для судов присяжных и применяемая иногда даже в уголовном суде, означает, что приговор, даже если он всегда формулируется в терминах правового наказания, более или менее явным образом содержит в себе суждения о нормальности преступника и причинах преступления, оценку возможных перемен в его поведении, предвосхищение его будущего. Неверно было бы сказать, что все эти операции обеспечивают обоснование приговора «извне»; они непосредственно интегрированы в процесс подготовки приговора. Теперь безумие не отменяет преступление, что соответствовало бы первоначальному смыслу статьи 64: каждое преступление, и даже каждое правонарушение, несет в себе (как законное подозрение, но также как законное право) предположение о безумии, во всяком случае – об аномалии. И приговор, который осуждает или оправдывает, является не просто суждением о виновности, правовым решением, устанавливающим наказание; он содержит в себе оценку нормальности и техническое предписание о возможной нормализации. В наши дни судья – и магистрат, и присяжный заседатель – на самом деле не просто «судит».

И судит он не в одиночестве. Во всей судебной процедуре и приведении приговора в исполнение участвует множество вспомогательных инстанций. Вокруг основного разбора дела в суде и вынесения судебного решения множатся мелкие органы правосудия и «параллельные» судьи: специалисты в области психиатрии или психологии, магистраты, следящие за исполнением наказаний, воспитатели, чиновники тюремной администрации дробят законную власть наказывать. Могут возразить, что никто из них в действительности не разделяет права судить; что одни, после вынесения приговора, имеют лишь право осуществлять наказание и, особенно, что другие – специалисты – вмешиваются в процесс до вынесения приговора, и не для того чтобы сформулировать его, но для того чтобы помочь судьям принять решение. Но раз наказания и меры безопасности, установленные судом, не являются абсолютно непреложными, – поскольку они могут быть изменены по ходу дела,

поскольку другим, помимо судей, предоставляется решать, «заслуживает» ли осужденный свободы под надзором или условного наказания и они могут положить конец сроку отбывания наказания, – этим другим передаются механизмы правового наказания, которые могут быть применены по их усмотрению: они хоть и вспомогательные судьи, но все-таки судьи. Весь механизм, с годами сложившийся вокруг исполнения приговоров и согласования наказания с индивидуальностью преступника, обеспечивает быстрое умножение числа инстанций, участвующих в принятии судебного решения, и расширяет сферу судебных решений далеко за рамки приговора. Со своей стороны, специалисты-психиатры вполне могут отрицать свое участие в вынесении и исполнении приговора. Рассмотрим три вопроса, на которые, согласно циркуляру 1958 г., они должны ответить. Представляет ли опасность для общества состояние обвиняемого? Подлежит ли он уголовному наказанию? Поддается ли он излечению или перевоспитанию? Эти вопросы не имеют никакого отношения ни к статье 64, ни к вероятности безумия обвиняемого в момент совершения деяния. Они не служат определению «ответственности». Они имеют отношение разве лишь к управлению наказанием, устанавливают его необходимость, полезность, возможную эффективность; они показывают на некодифицированном языке, что будет более подходящим местом заключения – психиатрическая лечебница или тюрьма, каким должно быть заключение – кратким или длительным, что именно требуется – медицинское лечение или заключение. Какова роль психиатра в уголовных вопросах? Он не специалист по вменяемости, но консультант по наказанию. Его дело – сказать, является ли субъект «опасным», каким образом надо от него защищаться, каким должно быть вмешательство, направленное на его изменение, что более целесообразно – меры подавления или лечения. В самом начале своей истории психиатрическая экспертиза была призвана формулировать «истинные» суждения относительно той роли, какую играла свобода правонарушителя в совершенном им действии; теперь она должна предлагать рецепты для того, что можно было бы назвать «медико-судебным лечением» правонарушителя.

Подведем итоги. С начала действия новой уголовно-правовой системы – установленной великими кодексами XVIII–XIX столетий – общий ход событий заставил судей судить нечто иное, нежели преступления; в своих приговорах они были вынуждены делать нечто иное, нежели судить; а власть судить отчасти была передана иным инстанциям, нежели судьи, призванные судить за правонарушения. В судебно-уголовную деятельность во всех ее формах влились внесудебные элементы и лица. Могут возразить, что здесь нет ничего необычного, поскольку право должно постепенно впитывать в себя чуждые ему элементы. Однако современному уголовному правосудию свойственна одна странность: оно включает в себя многочисленные внесудебные элементы не для того, чтобы юридически их квалифицировать и постепенно интегрировать во власть наказывать в точном смысле слова; но, напротив, для того чтобы заставить их функционировать в рамках уголовно-судебного процесса в качестве внесудебных элементов; для того чтобы помешать судебной процедуре быть просто правовым наказанием; для того чтобы отвести от судьи обвинение в том, что он занимается исключительно и просто тем, что карает: «Конечно, мы выносим приговор, но он определяется самим преступлением. Вы прекрасно понимаете, что мы рассматриваем его как способ излечения преступника. Мы наказываем преступника, но тем самым говорим, что хотим добиться его исцеления». Сегодня уголовное правосудие функционирует и обосновывает себя посредством вечной отсылки к иному, нежели оно само, посредством непрестанно возобновляемого включения себя во внесудебные системы. Оно обречено на

самообоснование посредством знания.

Итак, под возрастающей мягкостью наказания можно уловить смещение точки его приложения, а благодаря этому смещению – целое поле новых объектов, новый режим истины и множество ролей, дотоле небывалых в отправлении уголовного правосудия. Знание, методы, «научные» дискурсы формируются и постепенно переплетаются с практикой власти наказывать.

Цель этой книги – сравнительная история современной души и новой власти судить, генеалогия нынешнего научно-судебного единства, в котором власть наказывать находит себе основания, обоснование и правила, благодаря которому она расширяет свои воздействия и маскирует свое чрезмерное своеобразие.

Но какова исходная точка истории современной судимой души? Если ограничиться эволюцией права или уголовного судопроизводства, то неизбежна опасность представить начало изменения коллективной чувствительности, возрастания гуманности или развития гуманитарных наук как монолитный, внешний, инертный и первичный факт. Исследуя же, подобно Дюркгейму[28], лишь общие социальные формы, мы рискуем принять за начало смягчения наказаний процессы индивидуализации, являющиеся скорее одним из следствий новых тактик власти наряду с новыми карательными механизмами. Данное исследование основывается на четырех основных правилах.

“ 1

Не сосредоточиваться при исследовании карательных механизмов единственно на их «репрессивных» воздействиях, на присущих им аспектах «наказания», а рассматривать их с учетом целого ряда их возможных положительных следствий, даже если эти последние на первый взгляд кажутся побочными и второстепенными. А значит, рассматривать наказание как сложную социальную функцию.

2

Анализировать карательные методы не просто как последствия правовых установлений или индикаторы социальных структур, но как техники, обладающие собственной спецификой в более общем поле прочих методов отправления власти. Рассматривать наказание как политическую тактику.

3

Вместо того чтобы рассматривать историю уголовного права и историю гуманитарных наук как два отдельных ряда, пересечение которых, видимо, может оказать на одну из них, а то и на обе, пагубное или полезное (в зависимости от избранной точки зрения) воздействие, следует



посмотреть, нет ли у них некой общей матрицы, не происходят ли они из одного процесса «эпистемологическо-юридического» формирования; короче говоря, сделать технологию власти началом как гуманизации уголовного права, так и познания человека.

4

Постараться выяснить, не является ли появление души на сцене уголовного правосудия, а вместе с тем внедрение в судебную практику корпуса «научного» знания следствием преобразования способа захвата тела как такового отношениями власти.

Словом, надо попытаться исследовать метаморфозу карательных методов на основе политической технологии тела, которая может рассматриваться как общая история отношений власти и объектных отношений. Тогда посредством анализа относительной мягкости уголовно-правовой системы как техники власти можно будет выяснить, каким образом человек, «душа», нормальный или ненормальный индивид начинают «дублировать» преступление как объекты уголовно-правового вмешательства, а вместе с тем – каким образом некий специфический способ подчинения дал рождение человеку как объекту познания для дискурса, имеющего статус «научного».

Но я не претендую на то, что начал работать в этом направлении первым[29].

\* \* \*

Великий труд Руше и Киршхаймера[30] дает несколько важнейших ориентиров. Прежде всего, надо избавиться от иллюзии, будто уголовно-правовая система является главным образом (если не исключительно) средством борьбы с правонарушениями и будто в этой роли, в зависимости от социальных форм, политических систем или взглядов, она бывает суровой или мягкой, может быть нацелена на искупление или возмещение, на преследование индивидов или на вменение коллективной ответственности. Скорее, надо анализировать «конкретные уголовно-исполнительные системы», исследовать их как социальные явления, которые не могут быть объяснены ни одной лишь юридической структурой общества, ни его фундаментальным этическим выбором; надо переместить их в поле их собственного функционирования, где наказание преступления не является единственным элементом; надо показать, что карательные меры – не просто «негативные» механизмы, позволяющие подавлять, предотвращать, исключать, устранять, но что они связаны с целым рядом положительных и полезных последствий, которые призваны обеспечивать (в этом смысле можно сказать, что если законосообразные наказания должны карать за правонарушения, то установление правонарушений и их пресечение направлены, в свою очередь, на поддержание карательных механизмов и их функций). С этой точки зрения Руше и Кирхеймер сопоставили различные системы наказания с системами производства, в рамках которых они действуют: так, в рабовладельческом обществе

карательные механизмы служат созданию дополнительной рабочей силы – созданию «гражданского» порабощения наряду с порабощением в результате завоеваний или торговли; при феодализме, в эпоху, когда деньги и производство только начинают развиваться, наблюдается резкий рост числа телесных наказаний – ведь для большинства людей тело является единственной собственностью, имеющейся в их распоряжении; исправительный дом (Центральная исправительная богадельня в Париже, Спинхёйс и Распхёйс[31]), принудительный труд и тюремные предприятия возникают вместе с рыночной экономикой. Но система промышленного производства требует свободного рынка рабочей силы, и поэтому в XIX веке доля принудительного труда в механизмах исполнения наказаний сокращается и он уступает место заключению в исправительных целях. Несомненно, относительно строгая корреляция устанавливается здесь лишь с рядом оговорок.

Но, конечно, мы можем принять общее положение, согласно которому в современных обществах карательные системы должны быть вписаны в определенную «политическую экономию» тела. Даже если они не прибегают к насильственным и кровавым наказаниям, даже если они используют «мягкие» методы, включая лишение свободы и исправление, речь все равно идет о теле – о теле и его силах, об их полезности и послушности, распределении и подчинении. Совершенно правомерна история наказания, отталкивающаяся от моральных идей или юридических структур. Но можно ли написать такую историю на основании истории тел, если системы наказания утверждают, что имеют своей целью только загадочные души преступников?

Историки давно начали писать историю тела. Они исследовали тело в плане исторической демографии и патологии. Они рассматривали тело как вместилище потребностей и желаний, как место, где происходят физиологические процессы и метаболизм, как мишень для микробов или вирусов. Они показали, до какой степени исторические процессы были вовлечены в то, что может казаться чисто биологической основой существования, и какое место в истории обществ следует отвести биологическим «событиям», таким, как циркуляция бацилл или увеличение продолжительности жизни[32]. Но тело непосредственно погружено и в область политического. Отношения власти держат его мертвой хваткой. Они захватывают его, клеймят, муштруют, пытаются, принуждают к труду, заставляют участвовать в церемониях, производить знаки. Политический захват тела связан сложными двусторонними отношениями с его экономическим использованием; тело захватывается отношениями власти и господства главным образом как производительная сила. Но, с другой стороны, его функция как рабочей силы может осуществляться только в том случае, если оно вовлечено в систему подчинения (где потребность служит также политическим инструментом – тщательно подготовленным, рассчитанным и используемым); тело становится полезной силой только в том случае, если является одновременно телом производительным и телом подчиненным. Подчинение его не достигается исключительно средствами насилия или идеологии. Оно может быть также непосредственным, физическим, применяющим силу против силы, основанным на материальных элементах и при этом без участия насилия; оно может быть рассчитанным, организованным, технически продуманным; оно может быть тонким, может не использовать ни оружия, ни устрашения и все же сохранять свою физическую природу. Иными словами, возможно «знание» тела, отличающееся от знания его функционирования, и возможно овладение его силами,

представляющее собой нечто большее, нежели способность их покорить: знание и овладение, образующие то, что можно назвать политической технологией тела. Конечно, технология тела диффузна, редко выражается в связном, систематическом дискурсе; часто она лишена целостности, предлагает разрозненные инструменты и методы. При всей согласованности ее результатов обычно она представляет собой разве лишь многообразные приспособления. Кроме того она не может быть локализована в конкретном институте или государственном аппарате. Ибо они обращаются к ней, они используют, выбирают или насаждают некоторые ее методы. Но она сама в своих механизмах и воздействиях располагается совсем на другом уровне. Упомянутые аппараты и институты проводят в некотором смысле микрофизику власти поле действия которой простирается между большими делами власти и собственно телами с их материальностью и силами.

Исследование микрофизики власти предполагает, что отправляемая власть понимается не как достояние, а как стратегия, что воздействия господства приписываются не «присвоению», а механизмам, маневрам, тактикам, техникам, действиям. Что надо видеть в ней сеть неизменно напряженных, активных отношений, а не привилегию, которой можно обладать. Что следует считать ее моделью скорее вечное сражение, нежели договор о правах и имуществе или завоевание территории. Словом, эта власть скорее отправляется, нежели принадлежит; она не «привилегия», приобретенная или сохраняемая господствующим классом, а совокупное воздействие его стратегических позиций – воздействие, которое обнаруживается и иногда расширяется благодаря положению тех, над кем господствуют. Кроме того, эта власть не отправляется как простая обязанность или запрет, налагаемые на тех, кто «ее не имеет»; она захватывает последних, передается через и сквозь них; она оказывает давление на них, точно так же они, борясь против нее, сопротивляются ее хватке. Значит, отношения власти проникают в самую толщу общества; они не локализуются в отношениях между государством и гражданами или на границе между классами и не просто воспроизводят – на уровне индивидов, тел, жестов и поступков – общую форму закона или правления; и существующая непрерывность (они сопряжены с этой формой посредством целого ряда сложных механизмов) не обеспечивается ни аналогией, ни гомологией, но – специфичностью механизма и модальности. Наконец, отношения власти не однозначны; они выражаются в бесчисленных точках столкновения и очагах не стабильности, каждый из которых несет в себе опасность конфликта, борьбы и по крайней мере временного изменения соотношения сил. Следовательно, свержение «микровластей» не повинует закону «всё или ничего»; оно не достигается раз и навсегда ни посредством нового контроля над механизмами, ни посредством нового функционирования или разрушения институтов; с другой стороны, ни один его отдельный эпизод не может остаться в истории иначе, нежели как через последствия его для всей сети, которой он охвачен.

Пожалуй, следует отбросить также целую традицию, внушающую нам, будто знание может существовать лишь там, где приостановлены отношения власти, и развиваться лишь вне предписаний, требований и интересов власти. Вероятно, следует отказаться от уверенности, что власть порождает безумие и что (следуя той же логике) нельзя стать ученым, не отказавшись от власти. Скорее, надо признать, что власть производит знание (и не просто потому, что поощряет его, ибо оно ей служит, или применяет его, поскольку оно полезно); что власть и знание непосредственно предполагают друг друга; что нет ни

отношения власти без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отношений власти. Следовательно, отношения «власть – знание» не следует анализировать на основании познающего субъекта, свободного или не свободного по отношению к системе власти; напротив, следует исходить из того, что познающий субъект, познаваемые объекты и модальности познания представляют собой проявления этих фундаментальных импликаций отношения «власть – знание» и их исторических трансформаций. Словом, полезное для власти или противящееся ей знание производится не деятельностью познающего субъекта, но властью – знанием, процессами и борьбой, пронизывающими и образующими это отношение, которое определяет формы и возможные области знания.

Анализ политического захвата тела и микрофизики власти предполагает, следовательно, отказ – в том, что касается власти, – от оппозиции «насилие – идеология», от метафоры собственности, от модели договора или завоевания; и отказ – в том, что касается знания, – от оппозиции между «заинтересованным» и «незаинтересованным», «корыстным» и «бескорыстным», от модели познания, в которой главную роль играет субъект. Если заимствовать слово у Петти[33] и его современников, но дать ему иной смысл, нежели в XVII веке, можно представить себе политическую «анатомию». Она не была бы ни исследованием государства как «тела» (с его элементами, ресурсами и силами), ни исследованием тела и его окружения как маленького государства. Она была бы исследованием «политического тела» как совокупности материальных элементов и техник, служащих оружием, средствами передачи, каналами коммуникации и точками опоры для отношений власти и знания, которые захватывают и подчиняют человеческие тела, превращая их в объекты познания.

Следует рассматривать технологии наказания – неважно, овладевают ли они телом в ритуале публичных казней или обращаются к душе, – в контексте истории политического тела и уголовно-правовые практики; не столько как следствие юридических теорий, сколько как главу из политической анатомии.

Некоторое время назад Канторович[34] дал замечательный анализ «тела короля»: согласно средневековой юридической теологии двойного тела, которое включает в себя не только бранный элемент, рождающийся и умирающий, но и другой элемент, неподвластный времени и утверждающийся как физическая, однако неосязаемая опора для короны. Вокруг этой двойственности, близкой по происхождению к христологической модели, выстраиваются иконография, политическая теория монархии, правовые механизмы, которые различают и вместе с тем связывают личность короля и требования короны, и целый ритуал, достигающий своего апогея в коронации, погребении и церемониях подчинения. На другом полюсе можно представить себе тело осужденного; он тоже обладает правовым статусом, создает собственный церемониал и вызывает целый теоретический дискурс, но не для того, чтобы обосновать «избыток власти», принадлежащей личности государя, а для того, чтобы выразить «недостаток власти», отпечатывающийся на телах тех, кто подвергается наказанию. В самой темной области политического поля осужденный представляет симметричный перевернутый образ короля. Следует проанализировать то, что можно назвать, отдавая дань Канторовичу, «наименьшим телом осужденного».

Если избыточная власть короля приводит к удвоению его тела, то не приводит ли эта власть, применяемая к подчиненному телу осужденного, к удвоению другого типа? Нетелесного, «души», как говорил Мабли? История «микрофизики» власти наказывать была бы тогда генеалогией или частью генеалогии современной «души». Вместо того чтобы рассматривать душу как возвращенные к жизни пережитки некой идеологии, следует видеть в ней современный коррелят определенной технологии власти над телом. Неверно было бы говорить, что душа – иллюзия или результат воздействий идеологии. Напротив, она существует, она имеет реальность, она постоянно создается вокруг, на поверхности, внутри тела благодаря функционированию власти, воздействующей на наказываемых – вообще на всех, кого контролируют, воспитывают, муштруют и исправляют, на душевнобольных, на детей в школе и дома, на заключенных в колониях, на тех, кто припаян к производственной машине и подвергается контролю на протяжении всей остальной жизни. Душа в ее исторической реальности, в отличие от души в представлении христианской теологии, не рождается греховной и требующей наказания, но порождается процедурами наказания, надзора и принуждения. Эта реальная и нетелесная душа не есть субстанция; она элемент, в котором соединяются и выражаются проявления определенного типа власти и предметная область определенного знания, она механизм, посредством которого отношения власти порождают возможное знание, а знание распространяет и укрепляет воздействия власти. Опираясь на эту реальность-денотат, построили различные концепции, из нее выкроили области анализа (такие, как психика, субъективность, личность, сознание и т. п.); основываясь на ней, воздвигли научные методы и дискурсы, предъявили моральные требования гуманизма. Но здесь не надо заблуждаться: реальный человек, объект познания, философской рефлексии или технического вмешательства, не был заменен душой – иллюзией теологов. Человек, о котором нам рассказывают, которого нас призывают освободить, является следствием подчинения куда более глубинного, нежели он сам. «Душа» обитает в нем и дает ему существование, которое само является элементом господства, осуществляемого властью над телом. Душа есть следствие и инструмент политической анатомии; душа – тюрьма тела.

\* \* \*

О том, что наказание вообще и тюрьма в частности принадлежат к политической технологии тела, я узнал не столько из истории, сколько из настоящего. В последние годы во всем мире произошли тюремные бунты. В их целях, лозунгах, в том, как они развивались, было, несомненно, нечто парадоксальное. Бунты против всего состояния физического убожества, сохраняющегося более столетия: против холода, духоты и скученности, против обветшалых помещений, голода и избиений. Но также бунты против образцовых тюрем, против транквилизаторов, изоляции, медицинского обслуживания, воспитания. Были ли это бунты, преследующие чисто материальные цели? Или противоречивые бунты: против обветшалости и упадка, но и против удобств, против надзирателей, но и против психиатров? В сущности, все эти движения, как и бесчисленные дискурсы, порожденные тюрьмой с начала XIX века, вращались вокруг тела и материальных вещей. Эти дискурсы и бунты, воспоминания и инвективы вдохновлялись мелкими, ничтожными материями. Вольно видеть в них одни лишь слепые требования или подозревать влияние чуждых стратегий. На самом

деле это были бунты на уровне тела против самого тела тюрьмы. Протестовали не против слишком примитивной или слишком антисанитарной, слишком отсталой или слишком совершенной тюремной обстановки, а против самого материального существования тюрьмы как инструмента и вектора власти; против всей технологии власти над телом, которую технологии «души» – осуществляемой воспитателями, психологами и психиатрами – не удастся ни замаскировать, ни компенсировать по той простой причине, что сама она является одним из ее орудий. Я хотел бы написать историю тюрьмы со всеми политическими «захватами» тела, которые она собирает воедино в своей замкнутой архитектуре. Из одного лишь интереса к прошлому? Нет, если иметь в виду историю прошлого с точки зрения настоящего. Да, если понимать эту историю как историю настоящего[35].

# Глава 2. Блеск казни

Уложение 1670 г. определяло общие формы уголовно-правовой практики вплоть до Революции. Вот иерархия предписываемых им наказаний: «Смерть, допрос с применением пыток для вырывания доказательств, каторжные работы на определенный срок, наказание кнутом, публичное покаяние, ссылка». Налицо заметный перевес физических наказаний. Обычаи, характер преступления, общественное положение осужденных вносили дополнительное разнообразие. «Смертная казнь включает в себя много способов лишения жизни: одних преступников приговаривают к повешению, других – к отсечению кисти руки, вырыванию или протыканию языка с последующим повешением; иных, за более тяжкие преступления, к разламыванию и смерти на колесе после того, как конечности оторваны; иных разрывают на части до тех пор, пока не наступит естественная смерть, кого-то приговаривают к удушению и, далее, колесованию, к сожжению живьем, к сожжению с предварительным удушением, других – к отрубанию или протыканию языка с последующим сожжением живьем, раздиранию четырьмя лошадьми, к отрубанию или раскалыванию головы»[36]. Сулатж добавляет, едва ли не между прочим, что имеются также легкие наказания, не упоминаемые в Уложении: компенсация оскорбленному, выговор порицание, краткосрочное заключение, запрет на проживание в определенном месте и, наконец, денежные взыскания – штрафы или конфискация имущества.

Однако не будем заблуждаться. Между этим арсеналом ужасов и повседневной уголовно-правовой практикой было значительное расстояние. Казнь с применением пыток как таковая отнюдь не являлась наиболее частой формой наказания. Конечно, доля смертных приговоров в уголовно-судебной практике классического века сегодня может показаться высокой: в Шатле[37] в период 1755–1785 гг. от 9 до 10 % приговоров – смертные: колесование, виселица или сожжение[38]; парламент Фландрии в 1721–1730 гг. вынес 39 смертных приговоров из 260 (и в 1781–1790 гг. – 26 из 500)[39]. Но не надо забывать, что суды находили много способов смягчить строгость уголовного закона, либо отказываясь судить преступления, требовавшие слишком сурового наказания, либо изменяя квалификацию преступления. Порой сама королевская власть рекомендовала не следовать строго слишком жестокому Уложению[40]. Во всяком случае, чаще всего приговаривали к ссылке или штрафу: например, в Шатле, где суд разбирал только более или менее серьезные правонарушения, ссылки составили более половины приговоров, вынесенных в 1755–1785 гг. Но значительная часть таких нетелесных наказаний сопровождалась дополнительными наказаниями, включающими в себя пытки: позорный столб, железный ошейник, плеть, клеймение; пытка была элементом всех приговоров к каторжным работам или их эквиваленту для женщин – заключению в богадельню; ссылке часто предшествовали выставление к позорному столбу и клеймение; штраф иногда сочетался с наказанием плетью. Важная роль пытки в уголовно-правовой системе обнаруживала себя не только в торжественных публичных казнях, но также в упомянутой дополнительной форме наказания: всякое достаточно серьезное наказание должно было заключать в себе элемент пытки.

Что такое пытка? «Телесное наказание, болезненное, более или менее ужасное, – говорит Жокур[41] и добавляет: – Мера варварства и жестокости того, что измышляет человеческое воображение, – феномен непостижимый»[42]. Может быть, и непостижимый, но уж никак не беспорядочный и не примитивный. Пытка есть некая техника, и не следует видеть в ней предельное выражение беззаконной ярости. Наказание считается пыткой, если удовлетворяет трем основным критериям. Прежде всего, оно должно вызывать определенную степень страдания, которую можно точно измерить или по крайней мере вычислить, сравнить и сопоставить с другими. Смерть является пыткой, если представляет собой не просто отнятие права на жизнь, а ситуацию и завершение рассчитанной градации боли: от обезглавливания (которое сводит все страдания к единственному жесту и единому мигу, – нулевая степень пытки), через повешение, сожжение и колесование, продлевающие агонию, до четвертования, доводящего страдание почти до бесконечности; смерть-пытка есть искусство поддерживать жизнь в страдании, подразделяя ее на «тысячу смертей» и добиваясь, до наступления смерти, «the most exquisite agonies»[43]»[44]. Пытка опирается на настоящее искусство отмеривания страдания. Но более того: она предполагает упорядоченное причинение страдания. Пытка соотносит характер телесного воздействия, качество, интенсивность и длительность страдания с тяжестью преступления, личностью преступника, статусом его жертв. Существует юридический кодекс боли: наказание в форме пытки не обрушивается на данное тело без различия или наравне с любым другим; оно рассчитывается в соответствии с подробными правилами, которые регулируют число ударов плетью, место нанесения клейма, длительность предсмертной агонии на костре или колесе (суд решает, надобно ли удавить казнимого сразу или следует обречь его на медленное умирание, а также через какое время должен последовать жест милосердия – смерть), вид причиняемого увечья (отрезание кисти, протыкание губ или языка). Все эти различные элементы умножают количество наказаний и образуют комбинации в зависимости от решения суда и типа преступления: «Поэзия Данте, возведенная в закон», – сказал Росси; во всяком случае, длительное становление судебно-физического знания. Кроме того, пытка составляет часть ритуала. Она является элементом карательной литургии и отвечает двум требованиям. Она должна помечать жертву; она предназначена для того, чтобы посредством оставляемых на теле осужденного ран либо собственным блеском клеймить его позором. Даже если функция пытки – «очищение» преступника, она не примиряет; она вычерчивает вокруг тела осужденного или, скорее, на самом его теле нестираемые знаки. Люди обязательно сохраняют в памяти публичное зрелище, позорный столб, пытку и страдания, которые они наблюдали. А с точки зрения правосудия, предписывающего публичную пытку, она должна быть ярким зрелищем, должна восприниматься всеми почти как торжество правосудия. Сама чрезмерность совершаемого насилия – один из элементов величия правосудия: тот факт, что преступник стонет и кричит под ударами, – не постыдный побочный эффект, он есть сам церемониал правосудия, выражающего себя во всей своей силе. Отсюда, несомненно, ясен смысл пыток, продолжающихся даже после смерти, таких, как сжигание трупов, развеивание пепла по ветру, волочение тел на плетенках и выставление их на обочинах дорог. Правосудие преследует тело за гранью всякого возможного страдания.

Карательная казнь с применением пыток не исчерпывает всех телесных наказаний: она представляет собой дифференцированное причинение страдания, организованный ритуал



клеймения жертв и выражение карающей власти, – а не озлобление правосудия, которое, забывая свои принципы, карает без удержу. В «чрезмерности» пытки заложена целая экономия власти.

\* \* \*

Казнимое тело прежде всего вписывается в судебный церемониал, призванный произвести, вывести на всеобщее обозрение истину преступления.

Во Франции, как и в большинстве европейских стран (примечательное исключение составляла Англия), все уголовное судопроизводство, вплоть до вынесения приговора было тайным, иными словами – непрозрачным не только для публики, но и для самого обвиняемого. Оно происходило без него; по крайней мере, он не мог ознакомиться ни с составом обвинения, ни с показаниями свидетелей, ни с уликами. В порядке уголовного правосудия знание являлось абсолютной привилегией стороны обвинения. Предварительное следствие должно вести «как можно более старательно и тайно», – гласил эдикт 1498 г. По Уложению 1670 г., резюмировавшему и в некоторых отношениях усилившему суровость предшествующей эпохи, обвиняемый не мог получить доступ к документам дела, узнать имена жалобщиков, ознакомиться с показаниями, чтобы ответить свидетелям, воспользоваться, вплоть до самого последнего момента процесса, оправдывающими его документами, заручиться помощью адвоката, который контролировал бы законность судопроизводства или выступил бы защитником на суде. Следователь же имел право принимать анонимные доносы, скрывать от обвиняемого материалы дела, использовать в ходе допроса обман, прибегать к инсинуациям[45]. Следователь единолично и полновластно устанавливал истину, которая опутывала обвиняемого. Судьи получали истину готовой, в виде документов и письменных протоколов; последние являлись для них единственным доказательством; с обвиняемым они встречались только один раз, для того чтобы задать ему вопросы перед вынесением приговора. Тайная и письменная форма судопроизводства отражает принцип, предполагающий, что в области действия уголовного права установление истины является абсолютным правом государя и его судей и находится в их исключительной компетенции. Айро предположил, что такое судопроизводство (более или менее установившееся к XVI веку) имело своим источником «страх перед волнением, криками и приветствиями, обычно исходящими от народа; страх перед возможными беспорядками, насилием и буйством, направленными против сторон или даже против судей». Таким ведением дела король хотел показать, что «власть суверена», предоставляющая право карать, ни в коем случае не может принадлежать «массе»[46]. Перед правосудием суверена должны были умолкать все голоса.

Однако, несмотря на тайный характер судопроизводства, при установлении истины надлежало подчиняться определенным правилам. Тайна сама по себе требовала наличия строгой модели истины в сфере действия уголовного права. Целая традиция, идущая от средних веков и получившая значительное развитие благодаря великим правоведам эпохи Возрождения, определяла, какими должны быть характер и надежность доказательств. Даже в XVIII веке были обычными такие дистинкции: доказательства истинные, прямые, или законные (например, предоставляемые свидетелями) и косвенные, предположительные,

производные (получаемые посредством аргументации); далее, доказательства явные, важные, несовершенные или поверхностные[47]; также доказательства «непреложные или необходимые», не позволяющие усомниться в истинности факта деяния («полные» доказательства: когда, например, два безупречных свидетеля утверждают, что видели, как обвиняемый с обнаженной окровавленной шпагой уходит оттуда, где некоторое время спустя было найдено тело с колотыми ранами); приблизительные или неполные доказательства, которые можно расценивать как истинные до тех пор, пока обвиняемый не опровергнет их свидетельством в пользу своей невиновности (приведя показания единственного очевидца или указав на предшествовавшие убийству угрозы); наконец, отдаленные, или «вспомогательные», улики, основывающиеся лишь на суждениях и мнениях (слухи, бегство подозреваемого, его поведение во время допроса и т. п.[48]).

Причем все эти дистинкции – не просто теоретические тонкости. Они исполняют определенную функцию. Прежде всего, каждое доказательство указанных видов, взятое в отдельности, может определить результат судебного разбирательства: полное доказательство может обусловить любой приговор; неполное доказательство – повлечь за собой мучительное наказание, но не смертную казнь; несовершенного и поверхностного доказательства достаточно для издания «судебного приказа», отправляющего дело на дальнейшее расследование или налагающего штраф на подозреваемого. Далее, доказательства сочетаются одно с другим в соответствии с точными правилами счета: два полудоказательства могут составить полное доказательство; вспомогательные доказательства, если их несколько и они не противоречат друг другу, соединяются и образуют полудоказательство; но, как бы много их ни было, они никогда не составляют полного доказательства. Итак, налицо судебно-правовая арифметика, во многом очень детальная, но все же оставляющая место для различных дискуссий: допустимо ли выносить смертный приговор на основании одного полного доказательства или же оно должно сопровождаться другими, не столь неопровержимыми уликами? Всегда ли два приблизительных доказательства равнозначны полному доказательству? Не требуется ли для этого три приблизительных доказательства или вдобавок еще две отдаленные улики? Есть ли такие вещи, которые являются уликами лишь для определенных преступлений, в определенных обстоятельствах и по отношению к определенным личностям? (Так, свидетельство игнорируется, если оно исходит от бродяги; напротив, оно считается более надежным, если его предоставляет «почтенный человек» или – в случае домашней кражи – хозяин.) Арифметика, модулируемая казуистикой, функция которой – определить, как должно быть построено судебное доказательство. С одной стороны, система «юридических доказательств» делает истину в уголовно-правовой области результатом сложного искусства; оно подчиняется правилам, известным лишь специалистам, и, следовательно, укрепляет принцип тайны. «Недостаточно, чтобы судья имел убеждение, каковое может быть у любого разумного человека... Нет ничего более неправильного, нежели этот способ судить, который представляет собой, в сущности, лишь более или менее обоснованное мнение». Но, с другой стороны, такая система жестко ограничивает судью; при несоблюдении определенных правил «любой приговор оказывается необоснованным, и в некотором смысле можно считать его несправедливым, даже если обвиняемый действительно виновен»[49]. Придет день, когда особенность судебной истины покажется скандальной: как будто правосудие не должно подчиняться правилам общей истины. «Как расценили бы полудоказательство в науках, дающих строгое доказательство? Что означало бы полудоказательство в геометрии или алгебре?»[50] Однако не надо забывать, что

формальные ограничения, накладываемые на юридическое доказательство, являлись способом регулирования, внутренне присущим абсолютной власти и исключаящим знание.

Письменное, тайное и подчиненное строгим правилам построения доказательств уголовно-судебное расследование было машиной, способной производить истину в отсутствие обвиняемого. И благодаря самому этому факту (хотя, строго говоря, закон этого не требует) расследование непременно ведет к признанию обвиняемого. По двум причинам. Во-первых, признание – настолько сильное доказательство, что вряд ли требуется добавлять к нему другие доказательства или заниматься сложным и сомнительным сложением улики. Признание, полученное корректным способом, почти освобождает обвинителя от необходимости предоставлять дальнейшие свидетельства (во всяком случае, самые трудные). Во-вторых, процедура расследования может воспользоваться всей своей несомненной властью и стать настоящей победой над обвиняемым, а истина проявляет всю свою власть единственно в том случае, если преступник берет на себя ответственность за совершенное преступление и подписывается под тем, что было искусно и безвестно построено следствием. «Недостаточно, – сказал Айро, не одобрявший тайные процедуры, – чтобы злоумышленники были справедливо наказаны. По возможности они должны судить и осудить себя сами»[51]. В воссозданном в письменной форме преступлении преступник, признающий себя виновным, начинает играть роль живой истины. Признание – поступок преступника, ответственного и говорящего субъекта, – служило дополнением к письменному тайному предварительному следствию. Отсюда важное значение, придаваемое признанию всей этой процедурой инквизиторского типа.

Отсюда также и двусмысленность роли признания. С одной стороны, его пытаются включить в общую арифметику доказательства, подчеркивают, что оно – лишь одно доказательство из многих. Оно не есть *evidentia rei*[52]; оно не является самым сильным доказательством, как таковое оно не может привести к признанию виновности и должно сопровождаться дополнительными уликами и предположительными доказательствами. Ведь хорошо известно, что обвиняемые иногда признают себя виновными в преступлениях, которых не совершали, и потому следователь, если он располагает одним только признанием обвиняемого, должен произвести дополнительное расследование. С другой же стороны, признание пользуется преимуществом перед всяким иным доказательством. До некоторой степени оно превосходит всякое другое доказательство; будучи элементом вычисления истины, оно является также действием, которым обвиняемый соглашается с обвинением и признает его обоснованность. Оно превращает следствие, проведенное без участия обвиняемого, в добровольное подтверждение обвинения. Посредством признания обвиняемый лично принимает участие в ритуале производства судебно-уголовной истины. Как утверждалось в средневековом праве, признание делает судопроизводство общеизвестным и явным. На эту первую двусмысленность накладывается вторая: признание столь желанно, потому что оно – особо сильное доказательство, требующее для вынесения приговора лишь нескольких дополнительных улик и потому сводящее к минимуму работу следствия и механику доказательства; вытягивая признание, не гнушаются никаким принуждением. Но хотя в судопроизводстве признание должно быть живым и устным эквивалентом предварительного расследования, осуществляемого в письменной форме, хотя признание должно быть реакцией, как бы подтверждением предварительного расследования со стороны обвиняемого, оно окружается гарантиями и формальностями.

Признание содержит в себе нечто от сделки: поэтому оно должно быть «спонтанным», поэтому оно должно быть сделано перед компетентным судом и в полном сознании[53], поэтому в нем не должны упоминаться невозможные вещи и т. д. Делая признание, обвиняемый участвует в судопроизводстве; он удостоверяет истину, полученную в результате предварительного следствия.

Отмеченной двойной двусмысленностью признания (оно – элемент доказательства и эквивалент предварительного расследования; результат принуждения и полудобровольная сделка) объясняются два основных способа его получения, используемых классическим уголовным правом: присяга, которую должен принести обвиняемый перед началом допроса (т. е. угроза нести ответственность за клятвopеступление перед судом человеческим и судом Божьим и в то же время ритуальный акт участия), и пытка (физическое насилие с целью вырывания истины, которая будет повторена перед судьями как «спонтанное» признание и таким образом станет доказательством). В конце XVIII века пытку осуждают как пережиток варварства прошлых веков: как проявление «средневековой» дикости. Действительно, практика пыток имеет давнее происхождение: она восходит по крайней мере к инквизиции, а возможно к пыткам рабов. Но в классическом праве пытка не фигурирует как остаточное явление или изъясн. Она занимает четко определенное место в сложном уголовно-правовом механизме, где судопроизводство инквизиторского типа отягощено элементами обвинительной системы, где письменное доказательство нуждается в устном корреляте, где техника доказательства, осуществляемого следователями, смешивается с методами испытания, бросавшего вызов обвиняемому, где от обвиняемого требуют (если надо, то применяя при этом сильный нажим) исполнения роли добровольного участника в судебной процедуре, короче говоря – где истина выковычивается с помощью механизма, состоящего из двух элементов: следствия, тайно проводимого судебными органами, и действия, ритуально выполняемого обвиняемым. Тело обвиняемого, тело говорящее и, если необходимо, страдающее, обеспечивает сцепление между этими двумя механизмами; потому до тех пор, пока карательную систему не пересмотрели сверху донизу, радикальная критика пыток была весьма редка[54]. Гораздо чаще давались простые советы, продиктованные благоразумием: «Пытка – опасный путь к познанию истины, а потому судьи не должны прибегать к ней без должного размышления. Нет ничего более сомнительного. Бывают виновные, имеющие достаточно твердости и скрывающие совершенное преступление... и другие, невинные, которых ужасными муками вынуждают сознаться в преступлениях, в коих они не повинны»[55].

Исходя из этого можно сказать, что функция дознания с применением пыток – добывание истины. Прежде всего, такое дознание не являлось способом вырывания истины любой ценой; оно отличалось от безудержной пытки современных допросов; безусловно, оно было жестоким, но не диким. Оно было упорядоченной практикой, следующей четко определенной процедуре. Моменты, длительность, используемые орудия, длина веревок, вес гирь, количество клиньев, вмешательство судебного чиновника, ведущего допрос, – все это, определяемое различными местными обычаями, детально регламентировано[56]. Пытка – судебная игра со строгими правилами. И как таковая она связана со старыми дознаниями, применявшимися в обвинительных процедурах задолго до техник инквизиции, – в ордалиях, судебных поединках, испытаниях, где полагались на суд Божий. Своего рода состязание происходит между следователем, распорядившимся о пытке, и пытаемым обвиняемым.

«Пациент» – так обычно называли жертву – подвергается ряду пыток, различных по степени жестокости; он выносит пытки и «побеждает» или не выдерживает и сознается[57]. Но следователь применяет пытку не без риска для себя самого (т. е. помимо той опасности, что подозреваемый может умереть): он делает ставку в игре, рискуя уже собранными им элементами доказательства. Ведь существует правило: если обвиняемый «побеждает» и не сознается, то судья должен отказаться от обвинения. В таком случае выигрывает пытаемый. Отсюда обычай, введенный для самых серьезных случаев: применять пытку «в ожидании доказательства». Тогда после пыток следователь может располагать собранными данными и своими предположениями; обвиняемого не объявляли невиновным в результате его сопротивления; но по крайней мере победа избавляла его от смертного приговора. Следователь сохранял все свои карты, кроме главной. *Omnia citra mortem*[58]. Поэтому следователям часто рекомендовалось в случае самых тяжких преступлений не прибегать к пытке, если против обвиняемого подготовлено достаточно убедительное доказательство; ведь если тот выдержит пытку, то судья лишится права вынести заслуженный смертный приговор. В такой поединке проиграло бы правосудие: если доказательство достаточно и позволяет «приговорить обвиняемого к смерти», то не надо «превращать приговор в дело случая и полагаться на исход предварительного дознания, которое часто ни к чему не приводит; ведь интересы общественной безопасности требуют примерного наказания преступника, совершившего тяжкое, ужасное и кровавое преступление»[59].

Под внешне ожесточенными поисками «быстрой» истины в классической пытке скрывается отлаженный механизм испытания судом Божиим: физический вызов, призванный установить истину. Если пациент виновен, то его страдания, причиняемые пыткой, не будут незаслуженными; но пытка служит также основанием для оправдания, если он невиновен. В практике пытки боль, поединок и истина соединяются: они сообща работают над телом пациента. Поиски истины путем допроса с применением пыток – хороший способ получения важнейшего из доказательств: признания обвиняемого. Но также и сражение, и победа одного противника над другим, которая «создает» истину в соответствии с ритуалом. Пытка, применяемая для вытягивания признания, – расследование, но и поединок.

Акт расследования и элемент наказания здесь как будто смешались. И это не последний из парадоксов пытки. Действительно, она рассматривается как способ дополнения доказательства, когда «дело не предусматривает достаточно серьезных наказаний». И она считается одним из наказаний; настолько суровым, что в иерархии наказаний, определяемой Уложением 1670 г., помещается сразу после смертной казни. Разве можно использовать наказание как средство? – спросят позднее. Разве можно расценивать как наказание то, что должно быть способом доказательства? Оправдание следует искать в том способе, каким правосудие классической эпохи организовало производство истины. Различные фрагменты доказательства не составляли его нейтральных элементов вплоть до того момента, когда можно было собрать их в единый пучок и полностью удостоверить виновность. Каждое свидетельство вызывало более или менее сильное отвлечение. Виновность не «начиналась» после того, как собраны все доказательства, она создавалась шаг за шагом, каждым из элементов, позволявших установить личность виновного. Так, полудоказательство не позволяло считать обвиняемого невиновным вплоть до доведения доказательства до полного: оно делало обвиняемого полувиновным. Самая ничтожная улика, относящаяся к тяжкому преступлению, клеймила обвиняемого как «немного»

преступника. Короче говоря, доказательство в судебно-правовой сфере строилось не по дуалистическому принципу: истина или ложь, – но по принципу постепенной градации: некоторая степень доказательства уже означала некоторую степень виновности, а следовательно, и какое-то наказание. Подозреваемый как таковой всегда заслуживает некоторого наказания: навлекший на себя подозрение не может быть абсолютно невиновным. Подозрение предполагает элемент доказательства со стороны судьи, признаки определенной степени вины со стороны подсудимого и ограниченную кару со стороны уголовной системы. Подозреваемый, если он оставался про с то подозреваемым, несмотря ни на что, не признавался невиновным и подвергался определенному наказанию. Сделав предположение с какой-то долей вероятности, можно было совершенно законно вводить практику, игравшую двойственную роль: начать наказывать, следуя уже собранным уликам и свидетельствам, и использовать это начальное наказание, чтобы вырвать пока еще отсутствующую истину. В XVIII веке судебная пытка осуществлялась в режиме странной экономии, где ритуал создания истины неотъемлем от ритуала наложения наказания. Допрашиваемое под пытками тело являлось и точкой приложения наказания, и местом вырывания истины. И точно так же как предположение о виновности было неотъемлемым элементом следствия и долей виновности, выверенное страдание, причиняемое «законной» пыткой, было частью и наказания, и следственного процесса.

\* \* \*

Но весьма любопытно, что сцепление этих двух ритуалов через тело сохраняется и после признания доказательства достоверным и вынесения приговора: в самом исполнении наказания. И опять-таки, тело осужденного становится существенным элементом церемонии публичного наказания. Виновный должен вынести на всеобщее обозрение приговор и факт совершенного преступления. Выставляемое напоказ, водимое по улицам, демонстрируемое, терзаемое, тело осужденного служит зримой подставкой для процедуры, которая прежде оставалась в тени; в нем, благодаря ему акт правосудия становится очевидным для всех. Это живое и яркое обнаружение истины в публичном исполнении наказаний имеет в XVIII веке несколько сторон.

1

Прежде всего, из осужденного делают глашатая собственного приговора. Его заставляют, в каком-то смысле, возвещать и свидетельствовать истинность обвинения. Вождение по улицам; дощечка на спине, груди или лбу, напоминающая о приговоре; остановки на перекрестках; зачитание приговора; публичное покаяние у врат храмов, где осужденный торжественно признается в преступлении: «Босой, в рубище, с факелом в руках, коленопреклоненный, он должен объявить, что – злобно, ужасно, коварно, преднамеренно – содеял гнуснейшее преступление и т. д.»; выставление к позорному столбу с оповещением о деянии и приговоре; еще одно оглашение приговора у подножия плахи. Приговорен ли человек просто к позорному столбу или к сожжению и колесованию, он обнаружит свое преступление и вынесенный приговор, показывая их физически, на собственном теле.

2

Еще раз повторяется сцена признания. Публичное принудительное принесение покаяния дополняется спонтанным и публичным признанием. Публичная пытка становится моментом истины. Эти последние мгновения, когда виновному уже нечего терять, отнимаются в пользу истины, которая должна явиться в полном свете. После вынесения приговора суд мог принять решение о новой пытке, чтобы вырвать имена возможных сообщников. Предусматривалось также, что в момент вступления на эшафот осужденный может попросить отсрочки, чтобы сделать новые признания. Публика ожидала нового поворота истины. Многие осужденные пользовались этой возможностью, стараясь выиграть время, как это сделал Мишель Барбье, признанный виновным в вооруженном нападении: «Он нагло взглянул на плаху и сказал, что, конечно, не для него она возведена, поскольку он невиновен. Сначала захотел вернуться в камеру, где полчаса молот вздор, пытаюсь оправдаться. Потом, когда его снова повели на казнь, взошел на эшафот с решительным видом, но, когда его раздели и привязали к крестовине, чтобы наказать железным прутот, попросил еще раз пойти в помещение, где полностью сознался в содеянном и даже заявил, что виновен еще в одном убийстве»[60]. Функция настоящей казни с применением пыток – выявление истины, и в этом отношении она прилюдно продолжает начатое тайным дознанием. Она ставит под приговором подпись наказуемого. Удачная публичная казнь обосновывает правосудие, поскольку оглашает истину преступления на самом теле казнимого. Пример образцового осужденного – Франсуа Бияр, главный кассир почтового ведомства, который в 1772 г. убил свою жену. Палач хотел закрыть ему лицо, чтобы избавить от оскорблений толпы. «Вовсе не для того, – сказал тот, – меня приговорили к заслуженному наказанию, чтобы люди меня не видели...» «Он еще носил траур по супруге... был обут в новехонькие туфли, волосы свежезавиты и густо напудрены. Вид имел столь скромный и достойный, что люди, стоявшие близко, говорили, что он должен быть либо совершеннейшим христианином, либо величайшим лицемером. Висевшая у него на груди дощечка сбилась, и заметили, как он поправил ее, наверное для того, чтобы люди могли прочесть надпись»[61]. Если каждый участник играет свою роль хорошо, то церемония наказания имеет действенность долгого публичного покаяния.

### 3

Публичная казнь «привязывалась» к самому преступлению; между ними устанавливался целый ряд хорошо прочитываемых отношений. Труп осужденного выставлялся на месте преступления или на одном из ближайших перекрестков. Казнь часто вершилась в том самом месте, где было содеяно преступление: например, одного студента, который в 1723 г. убил немало людей, председатель Нантского суда постановил казнить на плахе у ворот трактира, где тот убивал[62]. Предпринимались «символические» казни, где форма экзекуции определяется характером преступления: богохульникам протыкают язык, запятнавших себя злодеяниями предают очищающему огню, убийцам отсекают кисть правой руки; иногда осужденного заставляют нести орудие преступления – так, Дамьен нес пресловутый кинжал, с которым шел на цареубийство, причем руку и кинжал намазали серой и подожгли. Как заметил Вико[63], старая юриспруденция была «целой поэтикой».

Бывали случаи почти театрального воспроизведения преступления в церемонии казни виновного: те же орудия, те же жесты. Так правосудие повторяет преступление на глазах у всех, обнародуя его фактическое содержание и в то же время отменяя его смертью

виновного. Даже во второй половине XVIII века, в 1772 году, сталкиваемся с такого рода приговорами: одна служанка из Камбрэ, убившая хозяйку, по приговору должна была быть доставлена на место казни в повозке, «используемой для уборки нечистот с перекрестков». Здесь надлежало «возвести виселицу, у подножия ее поставить то самое кресло, в котором сидела упомянутая Лалё, хозяйка, в момент убийства; посадить в это кресло служанку; исполнителю высшего правосудия надлежит отсечь ей правую кисть, в ее присутствии бросить кисть в огонь и сразу после этого нанести ей четыре удара косарем, которым она убила названную Лалё, причем первый и второй удары – в голову, третий – в левое предплечье, а четвертый – в грудь; после этого надлежит повесить ее на упомянутой виселице и оставить до наступления смерти от удушья; по истечении двух часов снять труп, отделить голову у подножия упомянутой виселицы на упомянутом эшафоте тем же косарем, коим она убила хозяйку; оную голову водрузить на кол высотой в двадцать футов и выставить у ворот вышеозначенного города Камбрэ, на обочине дороги, что ведет в Дуэ; обезглавленное тело поместить в мешок и зарыть у вышеозначенного кола на глубину десять футов»[64].

4

Наконец, медленность процесса казни, ее драматические повороты, крики и страдания осужденного играют роль последнего испытания в завершение судебного ритуала. Всякая агония сообщает определенную истину, но агония на эшафоте сообщает ее с большей силой, ибо она ускоряется болью; с большей строгостью, ибо она проявляется на самой грани между судом людским и судом Божьим; и с большей оглаской, ибо она происходит на публике. Страдания в процессе казни продолжают страдания предшествовавшего судебного дознания; однако в судебном дознании игра не сыграна и подозреваемый еще может спасти свою жизнь; а теперь он несомненно умрет, а значит, должен позаботиться о спасении души. Вечная игра уже началась: казнь предваряет потусторонние кары; она показывает, в чем они заключаются; она – театр ада; крики осужденного, его сопротивление и проклятия уже возвещают его неотвратимую судьбу. Но страдания здесь, на земле, могут расцениваться также как покаяние и смягчать наказание на небесах: Бог не преминет учесть эти муки, если они переносятся со смирением. Жестокость земного наказания будет учтена в грядущей каре, в ней видится обещание прощения. Но можно возразить: не являются ли столь ужасные страдания знамением того, что Бог оставил преступника на милость его собратьев? И отнюдь не обеспечивая будущего отпущения, они возвещают неминуемое проклятие; а значит, если осужденный умирает быстро, без долгой агонии, то не доказывает ли это, что Бог хочет защитить его и спасти от отчаяния? Стало быть, страдание от пыток неоднозначно и может выражать как фактический состав преступления, так и ошибку судей; добродетельность либо порочность преступника; совпадение либо расхождение суда людского и суда Божьего. Отсюда неутолимое любопытство, влекущее зрителей к плахе и мукам, к прошлому и настоящему, к здешнему и вечному. Все зрители ловят момент истины: каждое слово, каждый крик, длительность агонии, сопротивляющееся тело, отчаянно цепляющаяся за него жизнь, – во всем этом видят знамение: кто-то шесть часов не умирал на колесе и ни на миг не отпускал от себя палача, утешавшего и ободрявшего его (несомненно, по собственной инициативе); такой-то умер «с подлинным христианским чувством и обнаружил чистосердечное раскаяние»; такой-то «испустил дух уже через час после того, как его распластали на колесе; говорят, что присутствовавшие



были тронуты явными признаками веры и раскаяния»; такой-то выказывал искреннейшее раскаяние на пути к плахе, а когда его живым привязали к колесу, «не переставал издавать ужасные вопли»; а одна женщина «сохраняла спокойствие до момента зачитания приговора, а потом разум ее помутился, и она совсем обезумела к тому моменту, когда ее повесили»[65].

Замкнутый цикл: от допроса с применением пыток до казни тело производит и воспроизводит истину преступления. Или, скорее, тело образует элемент, который благодаря целой игре ритуалов и испытаний свидетельствует о том, что преступление имело место, что оно само и совершило это преступление, показывает, что преступление запечатлено в нем и на нем, подвергается операции наказания и чрезвычайно наглядно являет его результаты. Многократно казнимое тело обеспечивает синтез реальности деяний и истины дознания, документов судопроизводства и дискурса преступника, преступления и наказания. Оно является, следовательно, существенно важным элементом судебно-правовой литургии, где оно должно быть соучастником процедуры, включающей в свой круг неограниченные права монарха, преследование и тайну.

\* \* \*

Публичную пытку следует понимать не только как судебный, но и как политический ритуал. Даже во второстепенных случаях ее применения она принадлежит к церемониям, посредством которых власть показывает себя.

Правонарушение, согласно праву классического века, помимо ущерба, который оно иногда причиняет, и даже помимо нарушаемого им правила посягает на право того, кто защищает закон: «Противозаконное действие, даже если оно не причиняет ущерба, не наносит телесного повреждения или оскорбления личности, является правонарушением, которое требует возмещения, поскольку нарушает право высшего и наносит оскорбление его достоинству»[66]. Помимо непосредственной жертвы преступление направлено против суверена: против суверена лично (поскольку закон представляет волю суверена) и физически (поскольку сила закона есть сила государя). Ведь «для того, чтобы закон действовал в королевстве, он должен исходить непосредственно от государя или по крайней мере подкрепляться печатью его власти»[67]. Следовательно, вмешательство суверена – не третейский суд, разрешающий спор двух противников; оно даже много больше, нежели действие, которое должно обеспечить соблюдение прав индивида; оно – прямой ответ человеку, оскорбившему государя. «Проявление могущества суверена при наказании преступлений является, несомненно, одной из основных частей отправления правосудия»[68]. А значит, наказание не должно расцениваться как возмещение ущерба и да же соизмеряться с ущербом; в наказании всегда должна присутствовать доля, принадлежащая государю, и даже в соединении с предусмотренным возмещением ущерба она является наиболее важным элементом уголовно-правовой ликвидации преступления. Однако доля государя сама по себе не проста: с одной стороны, она требует возмещения ущерба, нанесенного его королевству (так, причинение беспорядка и дурной пример, по данный другим, – серьезный ущерб, не идущий ни в какое сравнение с ущербом, нанесенным частному лицу); но она также требует, чтобы государь отомстил за

оскорбление, нанесенное его личности.

Стало быть, право наказывать как часть права государя воевать со своими врагами покоится на «праве меча, на абсолютной власти над жизнью и смертью подданного, которая в римском праве называется *merum imperium*[69]. На праве, в силу которого государь заставляет исполнять свой закон, приказывая покарать за преступление»[70]. Но наказание есть также способ, каким добиваются возмездия одновременно личного и государственного, поскольку физическо-политическая сила государя в каком-то смысле присутствует в законе: «Из самого определения закона понятно, что он должен не только защищать, но и мстить за неуважение к себе путем наказания тех, кто посягнул на него»[71]. В исполнении обычного наказания, в строжайшем соблюдении юридических форм действуют активные силы мщения.

Итак, публичная казнь исполняет юридическо-политическую функцию. Она – церемониал, посредством которого восстанавливается на миг нарушенная власть суверена. Восстанавливается путем проявления ее во всем ее блеске. Публичная казнь, сколь бы поспешной и повседневной она ни была, относится к целому ряду пышных ритуалов, восстанавливающих власть после ее временного упадка (таких, как коронация, въезд монарха в покоренный город, усмирение взбунтовавшихся подданных); вслед за преступлением, унизившим суверена, казнь разворачивает перед всеми его непобедимую мощь. Ее цель – не столько восстановить равновесие, сколько ввести в игру как ее кульминационный момент асимметрию между подданным, осмелившимся нарушить закон, и всемогущим государем, демонстрирующим свою силу. Хотя возмещение вреда, причиненного правонарушением частному лицу, должно быть пропорциональным, хотя приговор должен быть справедливым, исполнение приговора осуществляется таким образом, чтобы продемонстрировать не меру, а отсутствие равновесия и чрезмерность. В литургии наказания должны подчеркнута утверждаться власть и присущее ей превосходство. И это превосходство обязано не просто праву, но и физической силе монарха, который обрушивается на тело противника и завладевает им: нарушая закон, правонарушитель затрагивает саму личность государя; и именно суверен (или по крайней мере те, кому он передал свою силу) захватывает тело осужденного и показывает его заклеянным, побежденным, сломленным. Словом, карательная церемония «устрашает». Когда юристы XVIII века начали полемику с реформаторами, они выдвинули ограничительное и «модернистское» истолкование физической жестокости наказания: суровые наказания необходимы как пример, который должен быть запечатлен глубоко в душах людей. Однако на самом деле практика публичных казней и пыток основывалась дотоле не на экономии примера, как он понимается в эпоху идеологов (мысль о наказании должна побеждать интерес, толкающий к преступлению), а на политике устрашения: через тело преступника все должны ощутить неумеренное присутствие государя. Публичная казнь не восстанавливала справедливость, она реактивировала власть. Следовательно, в XVII и даже в начале XVIII века она, со всем своим театром террора, не была задержавшимся пережитком ушедшей эпохи. Ее жестокость, блеск, насилие над телом, неравная игра сил, детально продуманный церемониал, словом, весь ее аппарат был вписан в политическое функционирование судебно-правовой системы.

Отсюда понятны некоторые характерные черты литургии публичных казней. И прежде всего важность ритуала, разворачивающегося перед публикой во всей своей пышности. Ничто не должно быть скрыто в этом торжестве закона. Эпизоды казни традиционно повторялись, и все же в обвинительных приговорах никогда не забывали их перечислить, настолько важны они были для судебного-правового механизма: шествия, остановки на перекрестках, стояние у церковных врат, публичное оглашение приговора, преклонение колен, принародное покаяние в прегрешении против Бога и короля. Иногда вопросы очередности и этикета решались самим судом: «Офицеры верхом отправятся в таком порядке: во главе два полицейских сержанта, затем пациент, за пациентом Бонфор и слева Ле Горр, за ними – секретарь суда. Так они придут на рыночную площадь, где приговор будет исполнен»[72]. Это детально расписанный церемониал – не только судебный, но и (совершенно очевидно) военный. Правосудие короля показывает себя как правосудие вооруженное. Меч, карающий виновника, – также меч, разящий врага. Целый военный механизм окружает место казни: конные стражи, лучники, жандармы, солдаты. Конечно, он должен воспрепятствовать побегу или перевороту, а также любому проявлению симпатии со стороны народа, попытке спасти осужденного или взрыву негодования и требованию немедленной казни. Но также напомнить, что всякое преступление – своего рода бунт против закона и что преступник – враг государя. Все эти факторы – будь они мерами предосторожности в конкретной ситуации или функциональным элементом ритуала – делают публичную казнь больше чем актом правосудия: демонстрацией силы. Или, скорее, правосудие обнаруживается в публичной казни как физическая, материальная и страшная мощь суверена. Церемония публичной казни и пытки выставляет на всеобщее обозрение отношение власти, передающей свою мощь закону.

Как ритуал вооруженного закона, где государь проявляет себя нераздельно в двояком образе главы правосудия и военачальника, публичная казнь имеет два аспекта: победы и битвы. С одной стороны, она торжественно завершает войну, исход которой предreshен, войну между преступником и государем; она должна демонстрировать огромную власть государя над теми, кого он сделал бессильными. Эта асимметрия, необратимое неравновесие сил – существенный элемент публичной казни. Тело уничтоженное, превращенное в пепел и развеиваемое, разрушаемое шаг за шагом безграничной властью государя составляет не только идеальный, но и реальный предел наказания. Возьмем знаменитую казнь Массолы, впервые примененную в Авиньоне и одной из первых вызвавшую негодование современников. Она кажется парадоксальной, поскольку осуществляется почти исключительно после смерти приговоренного и поскольку правосудие просто разворачивает на трупе свой великолепный театр, ритуально восхваляя собственную силу. Осужденному завязывают глаза и привязывают к столбу; эшафот окружен кольями с железными крюками. «Пациент шепотом исповедуется священнику, и, едва он получает благословение, палач железной дубиной, какими орудуют на бойнях, что есть силы ударяет по виску несчастного, который падает замертво. Затем *mortis exactor*[73] большим ножом перерезает ему горло, хлещет кровь. Зрелище ужасное. Палач перерезает жилы около – обеих пяток, вспарывает живот, вырывает сердце, печень, селезенку и легкие и нанизывает их на железный крюк. Потом рассекает и разрубает тело на куски, которые развешивает по крюкам по мере отрубания, будто разделяет мясную тушу. Смотрят только те, кто способен выдержать»[74]. Напоминая ремесло мясника, предельное измельчение тела связывается здесь со зрелищем: каждый кусок словно выставляется в

витрине мясной лавки.

Публичная казнь сопровождается церемониалом, символизирующим триумф. Но она также содержит, как некое драматическое ядро своего монотонного течения, сцену схватки: быстрое и непосредственное воздействие палача на тело «пациента». Воздействие, конечно, регулируется правилами, поскольку обычай и (часто в совершенно четкой форме) обвинительный приговор предписывают его основные эпизоды. И все же в нем сохраняется отзвук битвы. Палач не просто проводит в жизнь закон, он также использует силу; он проводник насилия, которое применяется к насилию преступления, с тем чтобы обуздать его. Материально, физически он противник этого преступления. Противник порой сострадающий, порой – ожесточенный. Дамудер, как и многие его современники, сетовал, что палачи совершают «всяческие жестокости над злодеями-пациентами и, избивая их и убивая, обращаются с ними, как с животными»[75]. И в течение долгого времени этот обычай сохранялся[76]. В церемонии казни еще присутствуют вызов и поединок. Если палач побеждает, если ему удастся одним ударом отрубить обреченную голову, то он «показывает ее народу, кладет на землю, а затем кланяется публике, громко хлопаящей в ладоши и восхищающейся его ловкостью»[77]. Наоборот, в случае неудачи, если ему не удастся казнить «пациента» как следует, его наказывают. Так был наказан палач Дамьена, который, не сумев четвертовать пациента по правилам, вынужден был резать тело осужденного ножом: обещанных ему в награду лошадей, которых использовали для казни, конфисковали в пользу бедных. Несколько лет спустя авиньонский палач доставил лишние страдания трем разбойникам (причем отъявленным злодеям), которых должен был повесить. Зрители разъярились и угрожали ему. Для того чтобы наказать палача и спасти от народного гнева, его посадили в тюрьму[78]. За наказанием неумелого палача стоит традиция совсем близкого прошлого: если казнь не удалась, осужденный должен быть помилован. Этот обычай твердо соблюдался в некоторых областях[79]. Народ часто ждал его подтверждения и иногда вставал на защиту осужденного, помогая ему избежать смерти. Дабы положить конец и обычаю, и народным ожиданиям, вспомнили старую поговорку: «Коль на виселицу попал, верно пропал». В смертные приговоры стали вводить точные указания: «Повесить и держать в петле, пока не наступит смерть», «пока не испустит дух». А юристы, такие, как Серпийон и Блэкстоун, в середине XVIII века утверждают, что неудача палача не влечет за собой сохранение жизни осужденного[80]. В церемонии казни еще оставалось нечто от Божьего суда. В схватке с осужденным палач выступал как своего рода защитник короля. Но защитник непризнаваемый и непризнанный: вроде бы, по традиции, запечатанную грамоту с указаниями для палача швыряли перед ним наземь, а не клали на стол. Известны многочисленные запреты, связанные с «крайне необходимой», однако «противоестественной» должностью палача[81]. Палач был в некотором смысле мечом короля, но разделял бесчестие со своим противником. Власть монарха, приказывавшая ему убивать и действительно убивающая его рукой, в нем самом не присутствовала; она не была тождественна его собственной жестокости. И наиболее ярко эта власть проявлялась в тот момент, когда останавливала занесенную руку палача грамотой о помиловании. Промежуток времени между приговором и казнью был очень коротким (несколько часов), а значит, весть о помиловании приходила обычно в самый последний момент. Но, несомненно, самой медлительностью своего течения церемония предусматривала возможность этого события[82]. Осужденные всегда надеялись на помилование и, чтобы потянуть время, заявляли, даже у самого подножия эшафота, что хотят сделать признание. Когда люди

желали помилования, они требовали его криками, старались оттянуть последний момент, ожидая прибытия гонца с грамотой за зеленой восковой печатью, а если надо, то и распускали слухи, будто он уже в пути (например, 3 августа 1750 г. во время казни осужденных за восстание против похищения детей). Государь присутствует в казни не только как власть, мстящая за нарушение закона, но и как власть, способная приостановить и закон, и мщение. Он один остается хозяином, он один может смыть оскорбления, нанесенные его личности; хотя верно, что он передает судам свою власть отправлять правосудие, он не уступает ее; он сохраняет ее во всей целостности и может приостановить исполнение приговора или сделать его более жестоким по собственной воле.

Публичную казнь, остававшуюся ритуалом еще в XVIII веке, следует расценивать как политический инструмент. Казнь логически вписывается в карательную систему, где государь прямо или косвенно требует наказания, выносит приговор и приводит его в исполнение, поскольку именно он как закон терпит ущерб от преступления. Во всяком правонарушении совершается *crimen majestatis*[83], малейший преступник – потенциальный цареубийца. А цареубийца – поистине тотальный, абсолютный преступник, поскольку, вместо того чтобы покушаться на конкретное решение или волеизъявление монарха, как это делает заурядный правонарушитель, он посягает на сам принцип монаршей власти в виде физической личности государя. Идеальное наказание для цареубийцы должно представлять собой сумму всех возможных пыток. Оно должно быть бесконечной мстью: французские законы, во всяком случае, не содержали предписаний относительно конкретных наказаний за такого рода чудовищные преступления. Для казни Раваяка[84] форму церемонии пришлось изобретать, прибегнув к соединению жесточайших пыток, практиковавшихся тогда во Франции. Для Дамьена пытались придумать еще более ужасное наказание. Были выдвинуты проекты, но их посчитали не вполне совершенными. Потому воспользовались формой казни, придуманной для Раваяка. И приходится признать ее сравнительно умеренной, если вспомнить о бесконечном мщении, какому подвергся в 1584 г. убийца Вильгельма Оранского[85]: «В первый день его привели на площадь, где стоял котел с кипящей водой, куда погрузили его правую руку, коей было совершено преступление. Назавтра руку отрубили, она упала ему под ноги, и он постоянно натывался на нее. На третий день раскаленными щипцами раздирали сосцы и руку спереди. На четвертый день раздирали руку сзади и ягодицы. Так непрерывно терзали его восемнадцать дней». В последний день распластали на колесе и «давили». Шесть часов спустя он еще просил пить, но ему отказали. «Наконец королевского судью по уголовным делам просили, чтобы он отдал приказ задушить убийцу, дабы душа его не впала в отчаяние и не погибла»[86].

Несомненно, существование публичных казней было связано с чем-то совершенно иным, нежели собственно внутренняя организация. Правы Руше и Киршхаймер, усмотревшие в казнях и пытках отзвук производственного режима, где рабочая сила и, следовательно, человеческое тело не имеют ни полезности, ни торговой стоимости, которые они получают в экономии промышленного типа. Кроме того, «презрение» к телу было связано, безусловно, с общей установкой относительно смерти; и в такой установке можно различить не только христианские ценности, но и демографическую, в каком-то смысле биологическую, ситуацию: опустошения, производимые болезнями и голодом, периодические смертоносные эпидемии, чудовищная детская смертность, шаткость биоэкономического равновесия – все это делало смерть обычным явлением и порождало вокруг нее ритуалы, которые должны

были примирить с ней и придать смысл ее неослабной агрессивности. Анализируя причины столь долгого сохранения публичных казней, необходимо также принять во внимание конкретную обстановку и конъюнктуру; не надо забывать, что Уложение 1670 г., регулировавшее уголовное правосудие до самой Революции, в некоторых отношениях даже усилило строгость прежних эдиктов. Пюсор (один из комиссаров, на которых была возложена подготовка этих документов) выражал намерения короля и навязал окончательную форму текста вопреки возражениям некоторых магистратов, таких, как Ламуаньон. Ряд бунтов в самом апогее классического века, надвигающаяся гражданская война, желание короля утвердить свою власть за счет парламентов хорошо объясняют живучесть «строгого» уголовного режима.

Выясняя, почему уголовно-исполнительная система столь широко применяла пытки, мы привели общие и в каком-то смысле внешние обоснования. Они объясняют не только саму возможность и длительное существование физических наказаний, но и то, почему протесты против них были столь слабыми и редкими. Но на этом фоне необходимо выяснить точную функцию наказаний. Пытка так прочно вписалась в судебную практику, поскольку она обнаруживает истину и демонстрирует действие власти. Она обеспечивает связь письменного с устным, тайного с публичным, процедуры расследования с операцией признания; она позволяет воспроизводить преступление на видимом теле осужденного; в ней, в этой ужасной операции, преступление одновременно обнаруживается и отменяется. Она также делает тело осужденного человека местом приложения мести государя, опорной точкой проявления власти, предлогом для утверждения асимметрии сил. Далее мы увидим, что отношение «истина – власть» остается в центре всех карательных механизмов и сохраняется даже в современной уголовно-судебной практике – но совсем в другой форме и с совершенно иными последствиями. Эпоха Просвещения поторопилась дисквалифицировать публичные казни и пытки, осудив их как «зверство». Термин, часто употреблявшийся и самими юристами, но без критических целей. Возможно, понятие «зверство» – одно из тех, что наилучшим образом характеризуют экономию публичной казни в прежней уголовно-судебной практике. Прежде всего, «зверством» называют некоторые ужасные преступления; тем самым указывают на ряд нарушаемых ими естественных или положительных, божественных или человеческих законов, на скандальную откровенность или, напротив, тайное коварство, с какими они были совершены, на ранг и общественное положение преступников и жертв, на подразумеваемый или производимый ими беспорядок, на ужас, внушаемый преступлениями. Наказание, поскольку оно должно выставлять преступление во всей его опасности на всеобщее обозрение, должно брать на себя ответственность за зверство: выносить его на свет через признания, речи и надписи, которые делают его всем известным; воспроизводить его в церемониях, обращающих зверство на тело преступника в виде унижения и страдания. Зверство есть та часть преступления, которую наказание возвращает в форме публичной пытки, для того чтобы выставить его напоказ при ясном свете дня; образ, неотъемлемый от механизма, воспроизводящего в самой сердцевине наказания видимую истину преступления. Публичная казнь составляет часть процедуры, устанавливающей реальность того, за что карают. Более того, зверство преступления – это также оскорбление, заключенное в брошенном суверену вызове; именно оно подвигает государя к ответной реакции, функция которой – превзойти это зверство, обуздать, преодолеть его поглощающей его чрезмерностью. Следовательно, зверство, неотступно сопровождающее публичную казнь, играет двойную роль: с одной

стороны, оно – связующее начало для преступления и наказания, а с другой – повод к ужесточению наказания по сравнению с преступлением. Зверство обеспечивает воссияние сразу и истины, и власти; оно – завершение ритуала следствия и церемония, в которой монарх празднует свой триумф; и оно объединяет истину и власть в казнимом теле. Практика наказаний в XIX веке стремится к установлению максимально большой дистанции между «беспристрастными» поисками истины и насилием, которое невозможно полностью устранить из наказания. Она старается подчеркнуть разнородность преступления, требующего наказания, и наказания, налагаемого государственной властью. Истина и наказание должны быть связаны одним лишь отношением необходимого следования. Карающая власть не должна запятнать себя преступлением более серьезным, нежели то, за которое хочет карать. Она должна оставаться невиновной в налагаемом ею наказании. «Скорее запретим такие пытки. Они достойны только коронованных извергов, правивших римлянами»[87]. Согласно же уголовно-судебной практике предыдущей эпохи, близость в публичной казни монарха и преступления, производимая в ней смесь «демонстрации» и наказания – не последствия варварской путаницы: их соединяет механизм зверства и его необходимые сцепления. Зверство искупления организует ритуальное подчинение подлости всемогуществу.

То, что преступление и наказание соотносятся и соединяются в форме зверства, не является следствием подспудно признаваемого закона возмездия. В карательных обрядах зверство порождается определенным механизмом власти. Власть, которая не только не колеблется функционировать прямо на телах, но и возвеличивается и усиливается благодаря своим видимым проявлениям. Власть, утверждающей себя как вооруженная власть, чьи функции по поддержанию порядка не вполне отделены от военных функций. Власть, расценивающей правила и обязанности как личные связи, разрыв которых составляет правонарушение и требует отмщения. Власть, рассматривающей неповиновение как акт враждебности, начало бунта, в принципе не отличающегося от гражданской войны. Власть, которая показывает не то, почему она следит за соблюдением законов, но кто ее враги и какая безудержная сила им угрожает. Власть, которая при отсутствии непрерывного надзора стремится к восстановлению своей действенности в сверкании спорадических демонстраций ее. Власть, которая закаляется и обновляется в ритуальном обнаружении своей реальности в качестве избыточной власти.

\* \* \*

Из всех оснований, по которым наказание, нимало не стыдившееся быть «зверским», заменяется наказанием, претендующим на «человечность», одно необходимо проанализировать немедленно, поскольку оно присуще публичной казни: как элемент ее функционирования и как начало ее вечного беспорядка.

В церемониях публичной казни главным персонажем является народ, чье реальное и непосредственное присутствие требуется для ее проведения. Казнь, о которой все знают, но которая вершится втайне, едва ли имеет смысл. Цель состоит в том, чтобы преподать урок, не только доводя до сознания людей, что малейшее правонарушение скорее всего будет наказано, но и внушая ужас видом власти, обрушивающей свой гнев на преступника. «В

уголовных делах самое трудное – наложение наказания: оно цель и завершение судебного разбирательства, и его единственный плод, когда оно надлежащим образом применяется к виновному, – назидание и устрашение»[88].

Но роль народа в сцене устрашения двусмысленна. Людей созывают как зрителей: они собираются, чтобы наблюдать публичное выставление и покаяние; позорные столбы, виселицы и эшафоты воздвигаются на людных площадях или на обочинах дорог; иногда трупы казненных по нескольку дней демонстрируются близ мест совершения преступлений. Люди должны не только знать, но и видеть собственными глазами. Ведь надо заставить их бояться. Но они должны быть также свидетелями, гарантами и в какой-то мере участниками наказания. Они имеют право быть свидетелями и требуют соблюдения своего права. Тайная казнь – казнь для привилегированных, и в таких случаях часто подозревают, что она не исполняется со всей строгостью. Протестуют, когда в последний момент жертву прячут от взоров. Главный кассир почтового ведомства был выставлен напоказ за убийство жены, а затем укрыт от толпы: «Его посадили в телегу; думали, что без надлежащей охраны трудно уберечь его от избиения громко негодующей чернью»[89]. Когда повесили некую Лекомба, позаботились закрыть ей лицо; «шея и голова ее были покрыты платом, отчего публика роптала и говорила, что это не Лекомба»[90]. Народ отстаивает свое право наблюдать казнь и видеть, кого казнят[91]. И народ имеет право участвовать в казни. Осужденного долго водят, показывают, унижают, всячески напоминают о чудовищности совершенного преступления, он подвергается оскорблениям, а иногда нападению толпы. В месть монарха должна привходить месть народа. Последняя совсем не составляет основания мести суверена, и король отнюдь не выражает месть народа; скорее, народ призван оказывать содействие королю, когда тот решает «отомстить своим врагам», особенно если эти враги – из народа. Такова своего рода «эшафотная служба», которую народ обязан нести в интересах королевской мести. Эта «служба» предусматривалась старыми постановлениями. Эдикт 1347 г. о богохульниках гласит, что они должны выставляться у позорного столба «с часа начала казни до часа их смерти. И грязь, и прочий мусор, кроме камней или ранящих предметов, можно бросать им в лицо... Постановляем, чтобы в случае рецидива богохульник был выставлен к позорному столбу в праздничный рыночный день и чтобы ему рассекли верхнюю губу, обнажив зубы». Несомненно, в классическую эпоху участие народа в пытке в такой форме разве что терпели и предпринимались попытки его ограничить: из-за варварских выходок народа и узурпации им власти наказывать. Но оно было слишком тесно связано с общей экономией публичной казни, и полностью отменить его было невозможно. Даже в XVIII веке наблюдаются сцены вроде той, что сопровождала казнь Монтини: пока палач казнил осужденного, рыночные торговки рыбой носили над толпой куклу осужденного, которой потом сами отрубили голову[92]. И очень часто приходилось «защищать» преступников, когда их медленно прогоняли сквозь толпу – как пример и мишень, как возможную угрозу и обещанную, но одновременно запретную жертву. Созывая толпу для манифестации своей власти, суверен краткое время терпел акты насилия, воспринимавшиеся им как знак верности, но строго ограниченные его собственными привилегиями.

И именно тогда народ, привлеченный зрелищем, которое устраивается для его устрашения, мог выплеснуть свое отвержение карательной власти, а иногда и пойти на бунт. Препятствовать казни, расцениваемой как несправедливая, вырвать осужденного из рук



палача, добиться помилования силой, даже преследовать палачей и нападать на них и, конечно, проклинать судей и роптать против приговора – все это входит в число действий народа, которые вклиниваются в ритуал публичной казни, мешают ему и часто расстраивают его порядок. Естественно, это часто происходит по отношению к осужденным за бунт: таковы беспорядки после известного дела о похищении детей, когда толпа хотела помешать казни трех предполагаемых бунтовщиков; их должны были повесить на кладбище Сен-Жан, «поскольку там мало аллей, а значит, и процессий, требующих охраны»[93]. Напуганный палач отвязал одного из осужденных, лучники стали стрелять. Это повторилось и после хлебных бунтов 1775 г., и в 1786 г., когда поденщики совершили поход на Версаль и попытались освободить своих арестованных товарищей. Но кроме этих случаев, когда волнения разгорались еще до вынесения приговора и по причинам, далеким от мер уголовного правосудия, имеется много примеров, когда бунты были вызваны непосредственно приговором или казнью. Малые, но бесчисленные «эшафотные страсти».

В самых элементарных формах такие беспорядки начинаются с подбадриваний, а иногда и приветствий, сопровождающих осужденного в ходе казни. Во время долгого вождения по улицам осужденного поддерживает «сострадание добрых и отзывчивых, а также хлопанье в ладоши, восхищение и зависть дерзких и ожесточенных»[94]. Народ толпится у эшафота не просто для того, чтобы увидеть страдания осужденного или разжечь ярость палача, но и для того, чтобы услышать человека, которому больше нечего терять и который проклинает судей, законы, власть, религию. Публичная казнь допускает миг разгула осужденного, когда для него нет более запретного и наказуемого. Под защитой неминуемой смерти преступник может сказать все что угодно, а зрители приветствуют его. «Если бы существовали хроники, тщательно фиксирующие последние слова пытаемых и казнимых, если бы достало мужества перечислить их все, даже если бы просто спросили презренную чернь, что толпится вокруг эшафотов из жестокого любопытства, то стало бы ясно, что ни один из привязанных к колесу не умирает, не обвинив небо в нищете, толкнувшей его на преступление, не упрекнув судей в варварстве, не прокляв сопровождающих его служителей алтаря и не кощунствуя против Бога, чьими орудиями они служат»[95]. В этих казнях, призванных демонстрировать только устрашающую власть монарха, имеется карнавальная сторона: роли меняются, власти осмеиваются, преступники превращаются в героев. Бесчестье опрокидывается; мужество, как и вопли, и крики осужденных навлекают подозрение только лишь на закон. Филдинг удрученно замечает: «Когда видишь, как трепещет осужденный, не думаешь о бесчестье. И тем меньше, если он ведет себя вызывающе»[96]. У людей, присутствующих на казни и наблюдающих, даже при самой жестокой монаршей мести всегда есть предлог для реванша.

И особенно если приговор расценивается как несправедливый или если простолюдина предадут смертной казни за преступление, за которое более высокородный или богатый получил бы сравнительно легкое наказание. Создается впечатление, будто низшие слои населения в XVIII веке, а может быть и ранее, уже не в силах терпеть определенные практики правосудия. Отсюда становится ясно, почему казни легко порождают народные волнения. Поскольку беднейшие – это наблюдение принадлежит одному магистрату – не имеют шанса быть заслушаны в судах[97], именно там, где закон проявляется публично, где они призваны быть свидетелями и едва ли не соисполнителями закона, именно там они могут вмешаться физически: живой силой войти в механизм исполнения наказания и

перераспределить его результаты, изменить направление насилия в карательных ритуалах. Вот пример бунта против дифференциации наказаний в зависимости от сословной принадлежности: в 1781 г. кюре из Шампре был убит местным помещиком, и убийцу попытались объявить умалишенным. «Крестьяне, очень любившие пастыря, были разгневаны и в первый момент, казалось, были готовы совершить крайнюю жестокость по отношению к своему господину и поджечь его замок... Все протестовали, и справедливо, против попустительства судьи, лишившего правосудие возможности покарать за столь ужасное преступление»[98]. Бунтовали также против слишком суровых приговоров за обычные правонарушения, которые не считались серьезными (например, кража со взломом), или против наказания за некоторые правонарушения, связанные с социальным положением, такие, как домашняя кража, совершенная прислугой. Смертный приговор за такое преступление вызывал сильное недовольство, поскольку многочисленной домашней челяди трудно было доказать свою невиновность, поскольку слуги легко могли стать жертвами злонамеренности хозяев и поскольку снисходительность некоторых господ, закрывавших глаза на подобные проступки, делала тем более горькой судьбу обвиненных, осужденных и повешенных слуг. Казнь слуг часто вызывала протесты[99]. В 1761 г. в Париже произошел небольшой бунт в защиту одной служанки, укравшей кусок материи у хозяина. Несмотря на признание ею своей вины, возвращение украденного и мольбы о помиловании, хозяин не захотел отозвать жалобу. В день казни окрестные жители помешали повешению, ворвались в лавку торговца и разграбили ее. В конце концов служанку помиловали. Но одну женщину, пытавшуюся уколоть иголкой злого хозяина, приговорили к трем годам каторги[100].

Вспоминают знаменитые судебные процессы XVIII века, в которые вмешалось просвещенное мнение философов и ряда магистратов: дела Каласа, Сирвена, шевалье де Ла Барра[101]. Но меньше говорят о народных волнениях, связанных с карательной практикой. Правда, они редко выплескивались за границы отдельного города или даже квартала. И все же они имели важное значение. Иногда эти движения, зародившись в низах общества, распространялись и привлекали внимание высокопоставленных особ, которые, откликаясь на них, придавали им новое звучание (незадолго до Революции дело Катрин Эспинас, незаслуженно обвиненной в убийстве отца в 1785 г., или дело трех колесованных из Шомона, ради которых Дюпати написал в 1786 г. свой знаменитый труд; или дело Мари-Франсуаз Сальмон, приговоренной в 1782 г. Руанским парламентом за отравление к сожжению на костре, но еще не казненной в 1786 г.). Обычно же эти волнения поддерживали постоянное беспокойство вокруг уголовного правосудия и его проявлений, призванных быть образцовыми. Сколько раз оказывались необходимыми для обеспечения порядка вокруг эшафотов меры, «неприятные для народа», и предосторожности, «унизительные для властей»?[102] Было очевидно, что великое зрелище казней рискует быть опрокинуто теми, кому оно предназначалось. Ужас, внушаемый публичной казнью, действительно разжигал очаги противозаконности: в дни казней работа прекращалась, кабаки наполнялись, власти терпели оскорбления, на палача, жандармов и солдат сыпались ругательства и камни; делались попытки захватить осужденного, чтобы спасти его или убить наверняка; завязывались драки, и для воров не было лучших жертв, чем зеваки, толпившиеся вокруг эшафота[103]. Но главное – и именно поэтому перечисленные неудобства несли в себе политическую опасность – народ нигде не чувствовал себя более близким к наказуемым, чем в этих ритуалах, призванных показать гнусность преступления и непобедимость власти; подобно осужденным, народ никогда не ощущал столь остро угрозы

законного насилия, чинимого без порядка и меры. Солидарность значительного слоя населения с теми, кого мы называли бы мелкими правонарушителями, – бродягами, псевдонищими и бедняками, карманниками, скупщиками и продавцами краденого – выражалась постоянно: об этом свидетельствуют оттеснения полицейских кордонов, охота за осведомителями, нападения на караул или полицейских инспекторов[104]. Разрушение этой солидарности и становится целью судебно-правовой и полицейской репрессии. Однако из церемонии публичной казни, из шаткого празднества, где насилие в любой миг могло быть «повернуто» в обратную сторону, с гораздо большей вероятностью должна была выйти окрепшей именно эта солидарность, а не власть суверена. Реформаторы XVIII-XIX столетий должны были понимать, что в конечном счете казни не пугают народ. И одним из первых их требований стала отмена казней.

Для того чтобы лучше понять политическую проблему, связанную с участием народа в церемонии казней, достаточно вспомнить два события. Одно из них имело место в Авиньоне в конце XVII века. Оно включает в себе все основные элементы театра ужаса: физическая схватка палача с осужденным, нападение осужденного, преследование палача народом, спасение осужденного благодаря начавшемуся бунту и насильственное опрокидывание уголовно-правовой машины. Должны были повесить убийцу по имени Пьер дю Фор. Несколько раз он «цеплялся ногами за ступеньки», и никак не удавалось его вздернуть. «Тогда палач набросил на лицо ему свой кафтан и ударил под коленями и в живот. Увидев, что палач причиняет казнимому слишком большие страдания, и вообразив даже, будто он перерезает ему горло штыком... люди преисполнились жалости к жертве и ярости к палачу и стали забрасывать эшафот камнями; тем временем палач выбил из-под ног пациента обе лестницы, сбросил его вниз, вспрыгнул ему на плечи и принялся топтать, а жена палача тянула осужденного за ноги из-под виселицы. У пациента хлынула горлом кровь. Но град камней усилился, некоторые даже угодили в голову казнимого, и палач ринулся на лестницу, побежав по ней так быстро, что упал посередине головой оземь. Толпа набросилась на него. Он поднялся и замахнулся штыком, угрожая убить каждого, кто приблизится. Несколько раз он падал и поднимался, его сильно избили, вывалили в грязь, утопили в ручье, потом возбужденная и разъяренная толпа поволокла его к университету и, далее, на францисканское кладбище. Помощника его поколотили и с разбитой головой и изувеченным телом отнесли в больницу, где он умер несколько дней спустя. Между тем неизвестные взобрались на лестницу и перерезали веревку, другие подхватили висельника внизу; он успел про висеть дольше, чем длится «помилуй мя, боже» от начала до конца... Толпа смела виселицу и разнесла в щепки лестницу палача... Дети бросили виселицу в Рону». Приговоренного отнесли на кладбище, «чтобы не попал в лапы правосудия, а оттуда в церковь Святого Антуана». Архиепископ помиловал его и приказал отправить в больницу, просив как следует заботиться о нем. Наконец, добавляет составитель протокола, «мы заказали для него новую одежду, две пары чулок, туфли, одели во все новое с головы до пят. Наши коллеги дали ему рубашки, шаровары, перчатки и парик»[105].

Второе событие произошло в Париже столетие спустя, в 1775 г., вскоре после хлебного бунта. Поскольку народ был доведен до крайности, власти хотели «просто» казни. Между эшафотом и толпой, удерживаемой на безопасном расстоянии, стоят две шеренги солдат, одна – лицом к месту казни, которая сейчас начнется, другая – лицом к народу на случай возможного бунта. Связь разорвана: казнь публичная, но элемент зрелища в ней

нейтрализован, скорее – сведен к абстрактному устрашению. Под защитой оружия на пустой площади правосудие спокойно делает свое дело. Если и можно видеть смерть обвиняемых, то лишь с высоты и издалека: «Две виселицы высотой 18 футов, несомненно – для пущего назидания, не устанавливали до трех часов дня. Начиная с двух часов Гревская площадь и все окрестности были окружены отрядами разных родов войск, пешими и конными. Швейцарские и французские гвардейцы охраняли близлежащие улицы. Во время казни на Гревскую площадь никого не пускали, и по всему ее периметру были видны две шеренги солдат со штыками наготове, стоявших спина к спине, одни – глядя на площадь, другие – вовне. Оба несчастных... все время кричали, что они невиновны, и продолжали твердить это даже на лестнице»[106]. Какую роль играют гуманные чувства в отказе от литургии публичных казней? Как бы то ни было, власть обнаружила политический страх перед последствиями этих двусмысленных ритуалов.

\* \* \*

Двусмысленность ритуала казни особенно ярко проявлялась в том, что можно назвать «эшафотными речами». Обряд казни требовал, чтобы осужденный сам возглашал свою вину, произнося публичное покаяние, демонстрируя дощечку с надписью, а также делая заявления, к которым его, несомненно, принуждали. Кажется, в момент казни ему предоставляли еще одну возможность говорить, но не для того, чтобы объявить о своей невиновности, а для признания факта преступления и справедливости приговора. Хроники сообщают о множестве таких речей. Действительно ли они имели место? В ряде случаев – безусловно. Или они были придуманы и пущены в ход позднее, в качестве примера и наставления? Несомненно, в большинстве случаев было именно так. Насколько можно верить, например, рассказу о смерти Марионы Ле Гофф, знаменитой предводительницы воровской шайки в Бретани в середине XVIII века? Она якобы вскричала на эшафоте: «Отцы и матери, если вы меня слышите! Берегите и учите своих детей; в детстве я была лгуньей и лентяйкой. Я начала с кражи ножичка ценой в шесть лиардов... Потом обкрадывала коробейников и торговцев скотом. Наконец, возглавила банду воров, и потому теперь я здесь. Расскажите все вашим детям, и пусть это послужит им уроком»[107]. Речь настолько близкая, даже своими оборотами, к традиционной морали листовок и памфлетов, что не может не быть «апокрифической». Но само существование жанра «последнее слово осужденного» показательны. Правосудие требует, чтобы его жертва в известном смысле удостоверила справедливость казни, которой ее подвергают. Преступника просят «освятить» наказание путем громогласного признания мерзости своих преступлений. Так, трижды убийцу Жан-Доминика Лангляда заставили сказать следующее: «Послушайте о моем ужасном, бесчестном и прискорбном деянии, свершенном в городе Авиньоне, где память обо мне ненавистна, поскольку я бесчеловечно нарушил священные права дружбы»[108]. В каком-то смысле листки и баллады о казненных – продолжение судебного процесса; или, скорее, деталь механизма, с помощью которого правосудие переносит тайную, существующую в письменной форме истину судоразбирательства на тело, жест и речь преступника. Правосудие нуждалось в таких подложных свидетельствах, чтобы утвердить свою справедливость. Оттого его решения окружались всеми этими посмертными «доказательствами». Иногда также печатались рассказы о преступлениях и бесчестной

жизни – в чисто пропагандистских целях, еще до начала судоразбирательства, дабы поддержать руку правосудия, подозреваемого в излишней терпимости. Стремясь дискредитировать контрабандистов, откупное ведомство опубликовало «бюллетени», повествующие об их преступлениях: в 1768 г. оно распространило листок против некоего Монтаня, главаря одной банды, о котором сам автор листка сообщает: «Ему приписали несколько краж, факт коих не вполне установлен... Монтаня представили как лютого зверя, новую гиену, мишень для охоты; в Оверни живут горячие головы, эту мысль сразу же подхватили»[109].

Но последствия распространения такой литературы неоднозначны. Осужденный превращался в героя из-за чудовищности его широко рекламируемых преступлений, а иногда – благодаря утверждениям о его запоздалом раскаянии. Он представал как борец с законом, богачами, сильными мира сего, судьями, полицией и охранниками, с налогами и их сборщиками, и люди легко отождествляли себя с ним. Возглашаемые преступления расширялись, приобретая эпические размеры и представая как маленькие битвы, остающиеся незаметными в повседневной жизни. Если осужденный изображался кающимся, признающим приговор, просящим прощения за преступления у Бога и людей, то он претерпевал очищение: он умирал как своего рода святой. Но и неукротимость претендовала на величие: не сдаваясь под пытками, осужденный выказывал силу, которую не могла сломить никакая власть: «В день казни – это может показаться невероятным – я без тени волнения произнес публичное покаяние, а когда наконец расположился на крестовине, не выказал и признака страха»[110]. «Черный» герой или примирившийся преступник, защитник истинного права или предъявитель несокрушимой силы, преступник, рисуемый в листках, памфлетах, альманахах, дешевых романах под прикрытием морали примера, которому не надо следовать, нес память о битвах и схватках. Одни осужденные преступники после смерти становились едва ли не святыми, их память уважали, могилы чтили[111]. В воспоминаниях о других слава и отвращение не были отделены друг от друга, но сосуществовали еще долгое время в одном «обратимом» образе. Разумеется, в литературе о преступлениях, которая быстро разрасталась вокруг некоторых знаменитых личностей[112], не надо усматривать ни чисто «народное самовыражение», ни согласованную программу пропаганды и морализации, навязанную сверху. Она – место встречи двух целей уголовно-правовой практики, своего рода поле боя между преступлением, наказанием за преступление и памятью о нем. Если этим рассказам, этим правдоподобным повествованиям о повседневной истории позволено печататься и распространяться, значит, от них ожидают эффекта идеологического контроля[113]. Но если их воспринимают с таким вниманием, если они становятся основным чтением низших классов, значит, народ находит в них не только воспоминания, но и точку опоры; не только интерес «любопытства», но и интерес политический. Таким образом, эти тексты могут пониматься как двусторонний дискурс: в сообщаемых фактах, вызываемом ими резонансе, в славе, какую они даруют преступникам, называемым «знаменитыми», и, несомненно, в самих используемых ими словах (надо бы изучить использование категорий, вроде «несчастье» или «мерзость», и эпитетов, вроде «знаменитый» или «жалкий», в таких повествованиях, как «История жизни, великих разбоев и хитрых уловок Гийери с сотоварищи и их жалкого и несчастного конца»[114].

Несомненно, надо сопоставить эту литературу с «эшафотными волнениями», где на теле осужденного сталкивались осуждающая власть и народ – свидетель, участник, возможная и «выдающаяся» жертва казни. В кильватере за церемонией, плохо разделявшей отношения власти и подчинения, которые она стремилась возвести в ритуал, возникало множество дискурсов, продолжающих то же столкновение; посмертное обнародование преступником своего преступления оправдывало правосудие, но и восхваляло преступника. Вот почему реформаторы уголовно-правовой системы вскоре потребовали запрета листов[115]. Вот почему народ обнаруживал столь живой интерес к тому, что в известном смысле играло роль малой и повседневной эпопеи противозаконностей. Вот почему листки утратили свое значение, когда изменилась политическая функция народных противозаконностей.

Исчезли же они, когда появилась совершенно новая литература о преступлениях – литература, в которой преступление прославляется, но потому, что является одним из изящных искусств; потому что может быть делом одних лишь исключительных натур; потому что показывает чудовищность и гнусность сильных мира сего; потому что злодейство – еще один вид привилегированности: от приключенческого романа до Де Квинси[116], от «Отрантского замка»[117] до Бодлера происходит эстетическое переосмысление преступления, являющееся также присвоением преступности в приемлемых формах. По видимости – это открытие красоты и величия преступления, по сути же – утверждение, что величие тоже имеет право на преступление и, даже, что это право становится исключительной привилегией поистине великих. Великие убийства и вообще преступления – не для мелких правонарушителей. Между тем полицейский роман, начиная с Габорио[118], продолжает это первое смещение: благодаря своей хитрости, уловкам и остроумию преступник, изображаемый в такой литературе, делается недостижимым для подозрений; борьба двух светлых умов – убийцы и сыщика – становится основной формой столкновения. И действительно, мы ушли далеко от повествований о жизни и злодеяниях преступника, где он признавался в совершённых преступлениях и где детально описывалась принятая им казнь: мы перешли от изложения фактов или от признания к медленному процессу раскрытия преступления, от казни – к расследованию, от физического столкновения с властью – к интеллектуальной борьбе между преступником и следователем. С рождением полицейской литературы исчезли не только листки; вместе с ними ушли прославление неотесанного злодея и мрачное превращение его в героя посредством публичной казни. Ведь простолюдин не мог изрекать и отстаивать тонкие истины. В этом новом жанре больше нет народных героев и пышных казней; преступник, конечно, порочен, но и умен; и хотя его наказывают, ему не приходится страдать. Полицейская литература переносит сияние вокруг преступника в иной общественный класс. Тем временем газеты снова берут на себя задачу описывать в серых тонах, в ежедневной хронике происшествий, детали заурядных правонарушений и наказаний. Произошел раскол; народ лишили прежней гордости за преступления; великие преступления становятся молчаливой игрой умников.